

Рассказы и сказки для детей

Рассказы и сказки для детей

Емеля-охотник

I

Далеко-далеко, в северной части Уральских гор, в непроходимой лесной глуши спряталась деревушка Тычки. В ней всего одиннадцать дворов, собственно десять, потому что одиннадцатая избушка стоит совсем отдельно, но у самого леса. Кругом деревни зубчатой стеной поднимается вечнозеленый хвойный лес. Из-за верхушек елей и пихт можно разглядеть несколько гор, которые точно нарочно обошли Тычки со всех сторон громадными синевато-серыми валами. Ближе других стоит к Тычкам горбатая Ручьевая гора, с седой мохнатой вершиной, которая в пасмурную погоду совсем прячется в мутных, серых облаках. С Ручьевой горы сбегает много ключей и ручейков. Один такой ручеек весело катится к Тычкам и зиму и лето всех поит студеной, чистой, как слеза, водой.

Избы в Тычках выстроены без всякого плана, как кто хотел. Две избы стоят над самой речкой, одна — на крутом склоне горы, а остальные разбрелись по берегу, как овцы. В Тычках даже нет улицы, а между избами колесит избитая тропа. Да тычковским мужикам совсем и улицы, пожалуй, не нужно, потому что и ездить по ней не на чем: в Тычках нет ни у кого ни одной телеги. Летом эта деревушка бывает окружена непроходимыми болотами, топями и лесными трющобами, так что в нее едва можно пройти пешком только по узким лесным тропам, да и то не всегда. В ненастье сильно играют горные речки, и часто случается тычковским охотникам дня по три ждать, когда вода спадет с них.

Все тычковские мужики — записные охотники. Летом и зимой они почти не выходят из лесу, благо до него рукой подать. Всякое время года приносит с собой известную добычу: зимой бьют медведей, куниц, волков, лисиц; осенью — белку; весной — диких коз; летом — всякую птицу. Одним словом, круглый год стоит тяжелая и часто опасная работа.

В той избушке, которая стоит у самого леса, живет старый охотник Емеля с маленьким внучком Гришуткой. Избушка Емели совсем выросла в землю и глядит на свет божий всего одним окном; крыша на избушке давно прогнила, от трубы остались только обвалившиеся кирпичи. Ни забора, ни ворот, ни сарая — ничего не было у Емелиной избушки. Только под крыльцом из неотесанных бревен воет по ночам голодный Лыско — одна из самых лучших охотничьих собак в Тычках. Перед каждой охотой Емеля дня три морит несчастного Лыска, чтобы он лучше искал дичь и отслеживал всякого зверя.

— Дедко... а дедко!.. — с трудом спрашивал маленький Гришутка однажды вечером. — Теперь олени с телятами ходят?

— С телятами, Гришук, — ответил Емеля, доплетая новые лапти.

— Вот бы, дедко, теленочка добыть... А?

— Погоди, добудем... Жары наступили, олени с телятами в чаще прятаться будут от оводов, тут я тебе и теленочка добуду, Гришук!

Мальчик ничего не ответил, а только тяжело вздохнул. Гришутке всего было лет шесть, и он лежал теперь второй месяц на широкой деревянной лавке под теплой оленьей шкурой.

Мальчик простудился еще весной, когда таял снег, и все не мог поправиться. Его смуглое личико побледнело и вытянулось, глаза сделались больше, нос обострился. Емеля видел, как внучонок таял не по дням, а по часам, но не знал, чем помочь горю. Поил какой-то травой, два раза носил в баню, — больному не делалось лучше. Мальчик почти ничего не ел. Пожует корочку черного хлеба, и только. Оставалась от весны соленая козлятина; но Гришук и смотреть на нее не мог.

«Ишь чего захотел: теленочка... — думал старый Емеля, доковыривая свой лапоть. — Ужо надо добыть...»

Емеле было лет семьдесят: седой, сгорбленный, худой, с длинными руками. Пальцы на руках у Емели едва разгибались, точно это были деревянные сучья. Но ходил он еще бодро и кое-что добывал охотой. Только вот глаза сильно начали изменять старику, особенно зимой, когда снег искрится и блестит кругом алмазной пылью. Из-за Емелиных глаз и труба развалилась, и крыша прогнила, и сам он сидит частенько в своей избушке, когда другие в лесу.

Пора старику и на покой, на теплую печку, да замениться некем, а тут вот еще Гришутка на руках очутился, о нем нужно позаботиться... Отец Гришутки умер три года назад от горячки, мать заели волки, когда она с маленьким Гришуткой зимним вечером возвращалась из деревни в свою избушку. Ребенок спасся каким-то чудом. Мать, пока волки грызли ей ноги, закрыла ребенка своим телом, и Гришутка остался жив.

Старому деду пришлось выращивать внука, а тут еще болезнь приключилась. Беда не приходит одна...

II

Стояли последние дни июня месяца, самое жаркое время в Тычках. Дома оставались только старые да малые. Охотники давно разбрелись по лесу за оленями. В избушке Емели бедный Лыско уже третий день завывал от голода, как волк зимой.

— Видно, Емеля на охоту собрался, — говорили в деревне бабы.

Это была правда. Действительно, Емеля скоро вышел из своей избушки с кремневой винтовкой в руке, отвязал Лыска и направился к лесу. На нем были новые лапти, котомка с хлебом за плечами, рваный кафтан и теплая оленья шапка на голове. Старик давно уже не носил шляпы, а зиму и лето ходил в своей оленьей шапке, которая отлично защищала его лысую голову от зимнего холода и от летнего зноя.

— Ну, Гришук, поправляйся без меня... — говорил Емеля внуку на прощанье. — За тобой приглядит старуха Маланья, пока я за теленком схожу.

— А принесешь теленка-то, дедко?

— Принесу, сказал.

— Желтенького?

— Желтенького...

— Ну, я буду тебя ждать... Смотри не промахнись, когда стрелять будешь...

Емеля давно собирался за оленями, да все жалел бросить внука одного, а теперь ему было как

будто лучше, и старик решился попытать счастья. Да и старая Маланья поглядит за мальчонком, — все же лучше, чем лежать одному в избушке.

В лесу Емеля был как дома. Да и как ему не знать этого леса, когда он целую жизнь бродил по нему с ружьем да с собакой. Все тропы, все приметы — все знал старик на сто верст кругом.

А теперь, в конце июня, в лесу было особенно хорошо: трава красиво пестрела распустившимися цветами, в воздухе стоял чудный аромат душистых трав, а с неба глядело ласковое летнее солнышко, обливавшие ярким светом и лес, и траву, и журчавшую в осоке речку, и далекие горы.

Да, чудно и хорошо было кругом, и Емеля не раз останавливался, чтобы перевести дух и оглянуться назад.

Тропинка, по которой он шел, змейкой взбиралась на гору, минуя большие камни и крутые уступы. Крупный лес был вырублен, а около дороги ютились молодые березки, кусты жимолости, и зеленым шатром раскидывалась рябина. Там и сям попадались густые перелески из молодого ельника, который зеленой щеткой вставал по сторонам дороги и весело топорщился лапистыми и мохнатыми ветвями. В одном месте, с половины горы, открывался широкий вид на далекие горы и на Тычки. Деревушка совсем спряталась на дне глубокой горной котловины, и крестьянские избы казались отсюда черными точками. Емеля, заслонив глаза от солнца, долго глядел на свою избушку и думал о внучке.

— Ну, Лыско, ищи... — говорил Емеля, когда они спустились с горы и повернули с тропы в сплошной дремучий ельник.

Лыску не нужно было повторять приказание. Он отлично знал свое дело и, уткнув свою острую морду в землю, исчез в густой зеленой чаще. Только на время мелькнула его спина с желтыми пятнами.

Охота началась.

Громадные ели поднимались высоко к небу своими острыми вершинами. Мохнатые ветви переплетались между собой, образуя над головой охотника непроницаемый темный свод, сквозь который только кое-где весело глянет солнечный луч и золотым пятном обожжет желтоватый мох или широкий лист папоротника. Трава в таком лесу не растет, и Емеля шел по мягкому желтоватому мху, как по ковру.

Несколько часов брел охотник по этому лесу. Лыско точно в воду канул. Только изредка хрустнет ветка под ногой или перелетит пестрый дятел. Емеля внимательно осматривал все кругом: нет ли где какого-нибудь следа, не сломал ли олень рогами ветки, не отпечаталось ли на мху раздвоенное копыто, не объедена ли трава на кочках. Начало темнеть. Старик почувствовал усталость. Нужно было думать о ночлеге.

«Вероятно, оленей распугали другие охотники», — думал Емеля.

Но вот послышался слабый визг Лыска, и впереди затрещали ветви. Емеля прислонился к стволу ели и ждал.

Это был олень. Настоящий десятирогий красавец олень, самое благородное из лесных животных. Вот он приложил свои ветвистые рога к самой спине и внимательно слушает, обнюхивая воздух, чтобы в следующую минуту молнией пропасть в зеленой чаще.

Старый Емеля завидел оленя, но он слишком далеко от него: не достать его пулей. Лыско лежит в чаще и не смеетдохнуть в ожидании выстрела; он слышит оленя, чувствует его запах... Вот грянул выстрел, и олень, как стрела, понесся вперед. Емеля промахнулся, а Лыско взвыл от забиравшего его голода. Бедная собака уже чувствовала запах жареной оленины, видела аппетитную кость, которую ей бросит хозяин, а вместо этого приходится ложиться спать с голодным брюхом. Очень скверная история...

— Ну, пусть его погуляет, — рассуждал вслух Емеля, когда вечером сидел у огонька под густой столетней елью. — Нам надо теленочка добывать, Лыско... Слышишь?

Собака только жалобно виляла хвостом, положив острую морду между передними лапами. На ее долю сегодня едва выпала одна сухая корочка, которую Емеля бросил ей.

III

Три дня бродил Емеля по лесу с Лыском и все напрасно: оленя с теленком не попадалось. Старик чувствовал, что выбивается из сил, но вернуться домой с пустыми руками не решался. Лыско тоже приуныл и совсем отощал, хотя и успел перехватить пару молодых зайчат.

Приходилось заночевать в лесу у огонька третью ночь. Но и во сне старый Емеля все видел желтенького теленка, о котором его просил Гришук; старик долго выслеживал свою добычу, прицеливался, но олень каждый раз убегал от него из-под носу. Лыско тоже, вероятно, бредил оленями, потому что несколько раз во сне взвизгивал и принимался глухо лаять.

Только на четвертый день, когда и охотник и собака совсем выбились из сил, они совершенно случайно напали на след оленя с теленком. Это было в густой еловой заросли на скате горы. Прежде всего Лыско отыскал место, где ночевал олень, а потом разнюхал и запутанный след в траве.

«Матка с теленком, — думал Емеля, разглядывая на траве следы больших и маленьких копыт. — Сегодня утром были здесь... Лыско, ищи, голубчик!...»

День был знойный. Солнце палило нещадно. Собака обнюхивала кусты и траву с высунутым языком; Емеля едва таскал ноги. Но вот знакомый треск и шорох... Лыско упал на траву и не шевелился. В ушах Емели стоят слова внука: «Дедко, добудь теленка... и непременно, чтобы был желтенький». Вон и матка... Это был великолепный олень-самка. Он стоял на опушке леса и пугливо смотрел прямо на Емелю. Кучка жужжавших насекомых кружилась над оленем и заставляла его вздрагивать.

«Нет, ты меня не обманешь...» — думал Емеля, выползая из своей засады.

Олень давно почуял охотника, но смело следил за его движениями.

«Это матка меня от теленка отводит», — думал Емеля, подползая все ближе и ближе.

Когда старик хотел прицелиться в оленя, он осторожно перебежал несколько сажен далее и опять остановился. Емеля снова подполз со своей винтовкой. Опять медленное подкрадывание, и опять олень скрылся, как только Емеля хотел стрелять.

— Не уйдешь от теленка, — шептал Емеля, терпеливо выслеживая зверя в течение нескольких часов.

Эта борьба человека с животным продолжалась до самого вечера. Благородное животное

десять раз рисковало жизнью, стараясь отвести охотника от спрятавшегося олененка; старый Емеля и сердился и удивлялся смелости своей жертвы. Ведь все равно она не уйдет от него... Сколько раз приходилось ему убивать таким образом жертвовавшую собою мать. Лыско, как тень, ползал за хозяином, и когда тот совсем потерял оленя из виду, осторожно ткнул его своим горячим носом. Старик оглянулся и присел. В десяти саженях от него, под кустом жимолости стоял тот самый желтенький теленок, за которым он бродил целых три дня. Это был прехорошенький олененок, всего нескольких недель, с желтым пушком и тоненькими ножками; красивая головка была откинута назад, и он вытягивал тонкую шею вперед, когда старался захватить веточку повыше. Охотник с замирающим сердцем взвел курок винтовки и прицелился в голову маленькому, беззащитному животному...

Еще одно мгновение, и маленький олененок покатился бы по траве с жалобным предсмертным криком; но именно в это мгновение старый охотник припомнил, с каким геройством защищала теленка его мать, припомнил, как мать его Гришутки спасла сына от волков своей жизнью. Точно что оборвалось в груди у старого Емели, и он опустил ружье. Олененок по-прежнему ходил около куста, общипывая листочки и прислушиваясь к малейшему шороху. Емеля быстро поднялся и свистнул, — маленькое животное скрылось в кустах с быстротой молнии.

— Ишь какой бегун... — говорил старик, задумчиво улыбаясь. — Только его и видел: как стрела... Ведь убежал, Лыско, наш олененок-то? Ну, ему, бегуну, еще надо подрасти... Ах ты, какой шустрый!..

Старик долго стоял на одном месте и все улыбался, припоминая бегуна.

На другой день Емеля подходил к своей избушке.

— А... дедко, принес теленка? — встретил его Гриша, ждавший все время старика с нетерпением.

— Нет, Гришук... видел его...

— Желтенький?

— Желтенький сам, а мордочка черная. Стоит под кустиком и листочки пощипывает... Я прицелился...

— И промахнулся?

— Нет, Гришук: пожалел малого зверя... матку пожалел... Как свистну, а он, теленок-то, как стреканет в чащу, — только его и видели. Убежал, пострел этакий...

Старик долго рассказывал мальчику, как он искал теленка по лесу три дня и как тот убежал от него. Мальчик слушал и весело смеялся вместе с старым дедом.

— А я тебе глухаря принес, Гришук, — прибавил Емеля, кончив рассказ. — Этого все равно волки бы съели.

Глухарь был ощипан, а потом попал в горшок. Вольной мальчик с удовольствием поел глухариной похлебки и, засыпая, несколько раз спрашивал старика:

— Так он убежал, олененок-то?

— Убежал, Гришук...

— Желтенький?

— Весь желтенький, только мордочка черная да копытца.

Мальчик так и уснул и всю ночь видел маленького желтенького олененка, который весело гулял по лесу со своей матерью; а старик спал на печке и тоже улыбался во сне.

Постойко

I

Едва только дворник отворил калитку, как Постойко с необыкновенной ловкостью проскользнул мимо него на улицу. Это случилось утром. Постойке необходимо было подраться с пойнтером из соседнего дома, — его выпускали погулять в это время.

— А, ты опять здесь, мужлан? — проворчал пойнтер, скаля свои белые длинные зубы и вытягивая хвост палкой. — Я тебе задам...

Постойко задрал еще сильнее свой пушистый хвост, свернутый кольцом, ошетинился и смело пошел на врага. Они встречались каждый день в это время и каждый раз дрались до остервенения. Охотничий пес не мог видеть равнодушно кудластого дворового пса, а тот, в свою очередь, сгорал от нетерпения запустить свои белые зубы в выхоленную кожу важничавшего барина. Пойнтера звали Аргусом, и он даже был раз на собачьей выставке, в самом отборном обществе других породистых и таких же выхоленных собак. Враги медленно подходили друг к другу, поднимали шерсть, скалили зубы и только хотели вцепиться, как вдруг в воздухе свистнула длинная веревка и змеей обвила Аргуса. Он жалобно взвизгнул от боли, присел и даже закрыл глаза. А Постойко летел вдоль улицы стремглав, спасаясь от бежавших за ним людей с веревками. Он хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но везде все было еще заперто. Впереди выбежали дворники и загородили Постойке дорогу. Опять свистнула веревка, и Постойко очутился с арканом на шее.

— А, попался, голубчик! — говорил какой-то верзила, подтаскивая несчастную Собаку к большому фургону.

Постойко сначала отчаянно сопротивлялся, но проклятая веревка ужасно давила шею, так что у него в глазах помутилось. Он даже не помнил, как его втолкнули в фургон. Там уже было до десятка разных собак, скромно жавшихся по углам: два мопса, болонка, сеттер, водолаз и несколько бездомных уличных собачонок, таких тощих и жалких, а в их числе и Аргус, забившийся со страху в самый дальний угол.

— Могли бы и повежливее обращаться с нами, — пропищала болонка, сторонясь от уличных собак. — Моя генеральша узнает, так задаст...

Эта противная собачонка ужасно важничала, и Постойко с удовольствием потрепал бы ее, но сейчас было не до нее. Пойманные собаки чувствовали себя сконфуженными и на время позабыли все свои собачьи расчеты. Спокойнее всех держал себя водолаз. Он не обращал ни на кого внимания, улегся по самой середине и зажмурился с такой важностью, точно какая важная особа.

— Господин водолаз, как вы полагаете? — обратилась к нему болонка, виляя пушистым белым хвостом. — Здесь так грязно, а я не привыкла... Наконец, какое общество... фи!.. Конечно, меня схватили по ошибке и сейчас же выпустят, но все-таки неприятно. Пахнет здесь

отвратительно...

Водолаз полуоткрыл один глаз, презрительно посмотрел на болонку и еще важнее задремал.

— Вы совершенно правы, сударыня, — ответил за него один из мопсов, приятно оскалась. — Случилось простое недоразумение... Мы всё попали сюда по ошибке.

— Я предполагаю, что нас отправят на выставку, — откликнулся Аргус из своего угла: он немного оправился от страха. — Я уже раз был на выставке и могу сказать, что там совсем недурно. Главное, хорошо кормят...

Одна из уличных собачонок горько засмеялась. Нечего сказать, на хорошую выставку привезут: она уже бывала в фургоне и только по счастливой случайности вырвалась.

— Нас всех привезут в собачий приют и там повесят, — сообщила она приятную новость всей собачьей компании. — Я даже видела, как это делают. Длинный такой сарай, а в нем висят веревки...

— Ах, замолчите, мне дурно... — запищала болонка. — Ах, дурно!..

— Повесят? — удивился водолаз, открывая глаза. — Желал бы я знать, кто смеет подойти ко мне?..

Бедный Постойко весь задрожал, когда услышал роковое слово. Он даже почувствовал, как будто его шею уже что-то давит. За что же повесят? Неужели за то, что он хотел подраться с Аргусом?.. И Постойко и Аргус старались не смотреть теперь друг на друга, точно никогда и не встречались. Отчасти им было совестно, а отчасти и не до того, чтобы продолжать старую вражду.

«Пусть уж лучше Аргуса повесят, — думал Постойко, — только меня бы выпустили...»

Конечно, так нехорошо было думать, но в скверных обстоятельствах каждый заботится больше всего только о себе одном. Фургон покатился дальше, и дверь с железной решеткой отворилась только для того, чтобы принять новые жертвы. Сегодняшняя охота на бродячих собак была особенно удачна, и верзила, заправлявший всем делом, решил, что на сегодня достаточно.

— Ступай домой, — сказал он кучеру.

Нечего сказать, приятное путешествие «домой»!.. Все собаки чувствовали себя очень скверно, а один маленький мопсик даже взвыл. Помилуйте, что же это такое!.. А фургон все катился медленно и тяжело, точно на край света. Собак было много, и они поневоле толкали друг друга, когда фургон раскачивался в ухабах; а таких ухабов чем дальше, тем было больше. Таким образом, в этой толкотне Постойко и не заметил, как очутился рядом с Аргусом, даже ткнул его своей мордой в бок.

— Извините, вы меня тычете своей мордой... — заметил Аргус с ядовитой любезностью хорошо воспитанной собаки; но, узнав приятеля, прибавил шепотом: — А ведь скверная история, Постойко!.. Я по крайней мере не имею никакого желания болтаться на веревке... Впрочем, меня хозяин выкупит.

Постойко удрученно молчал. У него не было хозяина, а жил он как-то так, без хозяев. В город его привезли из деревни всего месяц назад.

II

Приют для бродячих собак помещался на краю города, где уже не было ни мостовых, ни фонарей, а маленькие избушки вросли совсем в землю, точно гнилые зубы. Помещение приюта состояло из двух старых сараев: в одном держали собак, а в другом их вешали. Когда фургон въехал во двор, из первого сарая послышался такой жалобный вой и лай, что у Пстойки сердце сжалось. Пришел, видно, ему конец...

— Сегодня полон фургон, — хвастался верзила, когда вышел смотритель с коротенькой трубочкой в зубах.

— Рассортируйте их по породам... — приказал смотритель, равнодушно заглядывая в фургон.

— Господин смотритель! — пищала болонка. — Выпустите меня, пожалуйста: мне уже надоело сидеть в вашем дурацком фургоне.

Смотритель даже не взглянул на нее.

— Вот невежа!.. — ворчала болонка.

Когда отворили дверь сарая, где содержались собаки, там поднялись такой лай, визг и вой, что сжалось бы самое жестокое сердце. Верзила вытаскивал за шиворот из фургона одну собаку за другой и сносил в сарай. Появление новичка на время утишало бурю. Последним был выведен водолаз и помещен в особом отделении. С какой радостью встречали новичков сидевшие в заключении собаки — точно дорогих гостей. Они их обнюхивали, лизали и ласкали, как родных. Пстойко попал в отделение бездомных уличных собак, которые отнеслись к нему с большим сочувствием.

— Как это тебя угораздило... а? — спрашивал лохматый Барбос.

— Да уж так... Только хотел подраться с одним франтом, нас обоих и забрали. Я было задал тягу вдоль по улице, но тут дворники загородили дорогу. Одним словом, скверная история... Одно, что меня утешает, так это то, что и франт тоже попался. Он к охотничьим собакам посажен... Такой голенастый и хвост палкой.

— С ошейником?

— Да... Эти франты всегда в ошейниках щеголяют.

— Ну, так его хозяин выкупит.

В течение нескольких минут Пстойко узнал все порядки этого собачьего приюта. Пойманных собак рассаживали по клеткам и держали пять дней. Если хозяин не приходил выкупать собаку, ее уводили в другой сарай и вздергивали на веревку. Пстойко был ужасно огорчен: оставалось жить, может быть, всего пять дней... Это ужасно... И все из-за того только, что выскочил подраться с проклятым франтом. Впрочем, их и повесят вместе, потому что срок одинаковый. Плохое утешение, но все-таки утешение.

— Вот этой желтенькой собачонке осталось жить всего один день, — сообщал Барбос. — А вот той, пестрой, — сегодня...

— А тебе?

— Ну, мне еще долго: целых три дня. С часу на час жду, когда придут за мной. Порядочно-таки надоело здесь сидеть. Кстати, не хочешь ли закусить? Вот в корыте болтушка... Кушанье прескверное, но приходится жрать всякую дрянь...

Огорченный Постойко не мог даже подумать о пище. До еды ли, когда, того гляди, повесят! Он с ужасом смотрел на пеструю маленькую собачку, которая была уже на очереди. Бедная вздрагивала и жмурилась, когда слышались шаги и отворялась входная дверь. Может быть, это идут за ней.

— А ты все-таки закуси, — советовал Барбос. — Очень уж скучно здесь сидеть... Вон те франты, охотничьи собаки, не едят дня по три с горя, ну, а мы — простые дворняги, и нам не до церемоний. Голод не тетка... Ты из деревни?

Постойко рассказал свою историю. Родился и вырос он далеко от этого проклятого города, в деревне, где нет ни дворников, ни больших каменных дворов, ни собачьих приютов, ни фургонов, а все так просто: за деревней река, за рекой поля, за полями лес. Нынешним летом в деревню приехали господа на дачу. Вот он, на свою беду, познакомился с ними, вернее сказать, они сами познакомились с ним. Был у них такой кудрявый мальчик Боря, — увидел деревенскую собачку и засмеялся. Какая смешная собака: шерсть торчит клочьями, хвост крючком, а цвет шерсти такой грязный, точно она сейчас из лужи. Да и кличка тоже смешная: Постойко!.. «Эй, Постойко, иди сюда!» Сначала Постойко отнесся к городскому мальчику очень недоверчиво, а потом соблазнился телячьей косточкой. Именно эта косточка и погубила его... Стал он сам приходить на дачу к господам и выжидал подачек. Боря любил с ним играть, и они вместе пропадали по целым дням в лесу, на полях, на реке. Ах, какое хорошее было время и как быстро оно промелькнуло! Постойко настолько познакомился, что смело приходил в комнаты, валялся по коврам и вообще чувствовал себя как дома. Главное, отличная была еда у господ: до того наешься, что даже дышать трудно. Но наступила осень, и господа начали собираться в город. Маленький Боря непременно захотел взять Постойко с собой, как его ни уговаривали оставить эту затею. Таким образом Постойко и попал в большой город, где Боря скоро совсем забыл его. Приютился Постойко на дворе и жил кое-как со дня на день. Помнила о нем только одна кухарка Андреевна, которая и кормила его и ласкала, — они были из одной деревни. Впрочем, Постойко очень скоро привык к бойкой городской жизни и любил показать свою деревенскую удаль на городских изнеженных собаках.

— Что же, можно и в городе жить, — согласился Барбос. — Только я одного не понимаю: за что такая честь этим москкам и болонкам? Даже обидно делается, когда на них смотришь... Ну, для чего они? Вот охотничьи собаки или водолазы — те другое дело. Положим, они важничают, но все-таки настоящие собаки. А то какая-нибудь москья!.. тьфу!.. Даже и здесь им честь: их и вешают не в очередь, а ждут лишнюю неделю — не возьмет ли кто-нибудь. И находятся дураки — берут... Это просто несправедливо!.. Только бы мне выбраться отсюда, я бы задал москкам.

Не успел Барбос излить своего негодования, как появился смотритель в сопровождении горничной.

— Ваша собака сегодня пропала? — спрашивал смотритель.

— Да... Такая маленькая, беленькая... зовут «Боби», — объяснила горничная.

— Я здесь, — запищала жалобно болонка.

— Ну, слава богу, — обрадовалась горничная. — А то генеральша пообещала отказать мне от места, если не разыщу собаки.

Она уплатила деньги, взяла болонку на руки и ушла.

— Вот видишь, — заметил сердито Барбос. — Всегда так: настоящую собаку не ценят, а дрянь берегут и холят.

III

Как ужасно долго тянулись дни для заключенных... Даже ночь не приносила покоя. Собаки бредили во сне, лаяли и взвизгивали. Тревога начиналась вместе с дневным светом, который заглядывал в щели сарая золотистыми лучами и колебавшимися жирными пятнами света. Просыпались раньше других маленькие собачонки и начинали беспокойно прислушиваться к малейшему шуму извне. К ним присоединялись охотничьи. Густой лай водолаза слышался последним, точно кто колотил пудовой гирей по дну пустой бочки. Часто поднималась ложная тревога.

— Идут, идут!..

Вой и визг усиливались, превращаясь в дикий концерт, а потом все смолкало разом, когда никто не приходил.

Но вот слышались шаги... Все настораживалось. Собачий чуткий слух старался узнать знакомую походку. Начинались взвизгивания. Когда дверь растворялась и в нее врвался яркий дневной свет, все мгновенно стихало. У деревянных решеток виднелись собачьи головы, жадными глазами искавшие хозяев. Вот идет смотритель со своей неизменной трубкой, за ним вышагивает верзила, ловивший собак арканом, — он же и вешал их. За ними являлись посетители, разыскивавшие своих собак. Чей-то хозяин пришел!.. Кого выпустят на волю?.. Водолаз чуть не разломал решетку, когда увидел своего хозяина. Как запрыгала эта тяжелая машина, оглушая лаем весь сарай!..

— Ну, что, брат, не понравилось? — шутил хозяин. — То-то, вперед будь умней...

Комнатные собачонки с визгом лезли к решетке, отталкивая друг друга. Некоторые становились на задние лапки. Но приходившие брали только своих собак и уходили. Смотритель обходил все отделения и коротко говорил:

— Повесьте очередных...

Верзила готов был, кажется, перевешать всех собак на свете, — с таким удовольствием он выбирал своих жертв. Из отделения, в котором сидел Постойко, уведена была пестрая собачка. Она так истомилась ожиданием, что совершенно покорно шла за своим мучителем; лучше смерть, чем это ужасное томление и неизвестность. Потом увели желтенькую собачку и старого охотничьего сеттера.

Так прошли три длинных, бесконечных дня. Подходила очередь Барбоса, который заметно притих.

— Если сегодня за мной не придут... — говорил он утром. — Нет, этого не может быть!.. За что же меня вешать?.. Кажется, служил верой и правдой?..

— Придут, — успокаивал его Постойко. — Нельзя же оставлять хорошую собаку в таком положении...

Жалко было смотреть на этого Барбоса, когда отворялась дверь и когда он не находил своего

хозяина среди входивших. «Мне всего осталось жить несколько часов, — говорили с отчаянием эти добрые собачьи глаза. — Всего несколько часов...» Как быстро летело время! А тут всего несколько часов...

— Вот он!.. — крикнул однажды Барбос, опрометью бросаясь к решетке.

Но это была жестокая ошибка: пришли не за ним. Приведенный в отчаяние Барбос забился в угол и жалобно завыл. Это было такое горе, о каком знали только здесь, в этих ужасных стенах.

— Возьмите его, — сказал смотритель, указывая на Барбоса.

Барбоса увели, и Постойко почувствовал, как у него мороз пошел по коже: еще два дня и его уведут точно так же. Ведь у него нет настоящего хозяина, как у охотничьих собак или этих противных мосек и болонок. Да, оставалось всего два дня, коротких два дня... Время здесь было и ужасно длинно и ужасно коротко. Он и ночью не мог спать. Грезилась деревня, поля, леса... Ах, зачем он тогда попался на глаза этому кудрявому Боре, который так скоро забыл его.

Постойко сильно похудел и мрачно забился в угол. Э, будь что будет, а от своей судьбы не уйдешь. Да...

Прошел четвертый день.

Наступил пятый. Постойко лежал на соломе и не поднимал даже головы, когда дверь отворялась; он столько раз ошибался, что теперь был не в силах ошибиться еще раз. Да, ему слышались и знакомые шаги и знакомый голос, и все это оказывалось ошибкой. Может ли быть что-нибудь ужаснее!.. Холодное отчаяние овладело Постойком, и он ждал своей участи. Ах, только бы скорее... И в минуту такого отчаяния он вдруг слышит:

— Не у вас ли наша собака?

— А какой она породы?

— Да никакой породы, батюшка... Наша деревенская собака.

— Ну, назовите масть!

— Да масти нет никакой... так, — хвост закорючкой, а сама лохматая. Вы только мне покажите, — уж я узнаю...

— Ее Постойком зовут, — прибавил детский голос.

Постойко не верил сначала собственным ушам... Столько раз он напрасно слышал эти голоса...

— Да вот он сидит, Постойко-то наш!.. — заговорила Андреевна, указывая на него. — Ах ты, милаш... Да как же ты похудел!.. Бедный...

Постойко был выпущен и, как сумасшедший, вертелся около Андреевны и Бори.

— Если бы вы сегодня не пришли, конец вашему Постойко, — говорил смотритель. — Вон у нас сколько собак сидит... И жаль другую, а приходится убивать.

Андреевна и Боря обошли все отделения и долго ласкали визжавших собак, просившихся на волю. Добрая Андреевна даже прослезилась: если бы она была богата, откупила бы на волю всех. Постойко в это время разыскал Аргуса.

— Прощай, братец, — проговорил он, виляя хвостом. — Может быть, и за тобой придут...

— Нет, меня позабыли... — уныло ответил Аргус, провожая счастливец своими умными глазами.

С какой бешеной радостью вырвался Постойко на волю, как он прыгал, как визжал; а там, в сарае, раздавались такие жалобные вопли, стоны и отчаянный лай.

— Кабы мы с тобой не земляки были, так висеть бы тебе на веревочке! — наставительно говорила Андреевна прыгавшему около нее Постойке. — Смотри у меня, пострел.

Приемыш

(Из рассказов старого охотника)

I

Дождливый летний день. Я люблю в такую погоду бродить по лесу, особенно когда впереди есть теплый уголок, где можно обсушиться и обогреться. Да к тому же летний дождь — теплый. В городе в такую погоду — грязь, а в лесу земля жадно впитывает влагу, и вы идете по чуть отсыревшему ковру из прошлогоднего палого листа и осыпавшихся игл сосны и ели. Деревья покрыты дождевыми каплями, которые сыплются на вас при каждом движении. А когда выглянет солнце после такого дождя, лес так ярко зеленеет и весь горит алмазными искрами. Что-то праздничное и радостное кругом вас, и вы чувствуете себя на этом празднике желанным, дорогим гостем.

Именно в такой дождливый день я подходил к Светлому озеру, к знакомому сторожу на рыбачьей сайме^[1] Тарасу. Дождь уже редел. На одной стороне неба показались просветы, еще немножко — и покажется горячее летнее солнце. Лесная тропинка сделала крутой поворот, и я вышел на отлогий мыс, вдававшийся широким языком в озеро. Собственно, здесь было не самое озеро, а широкий проток между двумя озерами, и сайма приткнулась в излучине на низком берегу, где в заливчике ютились рыбачьи лодки. Проток между озерами образовался благодаря большому лесистому острову, разлегшемуся зеленой шапкой напротив саймы.

Мое появление на мысу вызвало сторожевой оклик собаки Тараса, — на незнакомых людей она всегда лаяла особым образом, отрывисто и резко, точно сердито спрашивала: «Кто идет?» Я люблю таких простых собачонок за их необыкновенный ум и верную службу...

Рыбачья избушка издали казалась повернутой вверх дном большой лодкой, — это горбилась старая деревянная крыша, проросшая веселой зеленой травой. Кругом избушки поднималась густая поросль из иван-чая, шалфея и «медвежьих дудок», так что у подходившего к избушке человека виднелась одна голова. Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь достаточно было влаги и почва была жирная.

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пестрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань... Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, еще не верил в старое знакомство. Он осторожно подошел, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а все-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть. Кругом избушки все говорило о присутствии живого человека: слабо курившийся огонек, охалка только что нарубленных дров, сушившаяся на кольях сеть, топор, воткнутий в обрубок дерева. В приотворенную дверь саймы виднелось все хозяйство Тараса: ружье на стене, несколько горшков на припечке, сундучок под лавкой, развешанные снасти. Избушка была довольно просторная, потому что зимой во время рыбного лова в ней помещалась целая артель рабочих. Летом старик жил один. Несмотря ни на какую погоду, он каждый день жарко на тапливал русскую печь и спал на полатах. Эта любовь к теплу объяснялась почтенным возрастом Тараса: ему было около девяноста лет. Я говорю «около», потому что сам Тарас забыл, когда он родился. «Еще до француза», как объяснял он, то есть до нашествия французов в Россию в 1812 году.

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу. Весело разгорелся огонек, пустив кверху синюю струйку дыма. Дождь уже прошел. По небу неслись разорванные облака, роняя редкие капли. Кое-где синели просветы неба. А потом показалось и солнце, горячее июльское солнце, под лучами которого мокрая трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо-тихо, как это бывает только после дождя. Пахло свежей травой, шалфеем, смолистым ароматом недалеко стоявшего сосняка. Вообще хорошо, как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. Направо, где кончался проток, синела гладь Светлого озера, а за зубчатой каймой поднимались горы. Чудный уголок! И недаром старый Тарас прожил здесь целых сорок лет. Где-нибудь в городе он не прожил бы и половины, потому что в городе не купишь ни за какие деньги такого чистого воздуха, а главное — этого спокойствия, которое охватывало здесь. Хорошо на сайме!.. Весело горит яркий огонек; начинает припекать горячее солнце, глазам больно смотреть на сверкающую даль чудного озера. Так сидел бы здесь и, кажется, не расстался бы с чудным лесным привольем. Мысль о городе мелькает в голове, как дурной сон.

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнем. Вода уже начинала кипеть, а старика все не было.

— Куда бы ему деться? — раздумывал я вслух. — Снасти осматривают утром, а теперь полдень... Может быть, поехал посмотреть, не ловит ли кто рыбу без спроса... Соболько, куда девался твой хозяин?

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала. По наружности Соболько принадлежал к типу так называемых «промысловых» собак. Небольшого роста, с острой мордой, стоячими ушами и загнутым вверх хвостом, он, пожалуй, напоминал обыкновенную дворнягу с той разницей, что дворняга не нашла бы в лесу белки, не сумела бы «облаять» глухаря, выследить оленя, — одним словом, настоящая промысловая собака, лучший друг человека. Нужно видеть такую собаку именно в лесу, чтобы в полной мере оценить все ее достоинства.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке черной точкой показалась рыбацья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас... Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом — настоящие рыбаки все так плавают на своих лодках-однодеревках, называемых не без основания «душегубками». Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай... Вот я тебе дам — уплывать бог знает куда... Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме, вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых черных ногах, направился к избушке.

II

Старик Тарас был высокого роста, с окладистой седой бородой и строгими большими серыми глазами. Он все лето ходил босой и без шляпы. Замечательно, что у него все зубы были целы и волосы на голове сохранились. Загорелое широкое лицо было изборождено глубокими морщинами. В жаркое время он ходил в одной рубахе из крестьянского синего холста.

— Здравствуй, Тарас!

— Здравствуй, барин!

— Откуда бог несет?

— А вот за Приемышем плавал, за лебедем... Все тут вертелся в протоке, а потом вдруг и пропал... Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— А бог послал, да!.. Тут охотники из господ наезжали; ну, лебедя с лебедушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался ребячьим делом. Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадет один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в нем еще настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привез и держу. И он тоже привык... Теперь вот скоро месяц будет, как живем вместе. Утром на заре поднимется, поплавает в протоке, покормится, потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждет, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковывал к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка... — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода...

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собољком веселей. Как-то один охотник забрел ко мне на сайму, увидел лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить божью птицу? Пусть живет, как ей от господа указано... Человеку указано одно, а птице — другое... Но возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства...

Лебедь точно понимал слова старика и посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собољком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Собољка и кусок отнимает. Пес заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Собољко — по берегу. Пробовал пес плавать за ним, ну, да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывет, Собољко ищет его. Сядет

на бережку и воет... Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг сердешный. Так вот и живем втроем.

Я очень любил старика. Рассказывал уж он очень хорошо и знал много. Бывают такие хорошие, умные старики. Много летних ночей приходилось коротать на сайме, и каждый раз узнаешь что-нибудь новое. Прежде Тарас был охотником и знал места кругом верст за пятьдесят, знал всякий обычай лесной птицы и лесного зверя; а теперь не мог уходить далеко и знал одну свою рыбу. На лодке плавать легче, чем ходить с ружьем по лесу, а особенно по горам. Теперь ружье оставалось у Тараса только по старой памяти да на всякий случай, если бы забежал волк. По зимам волки заглядывали на сайму и давно уже точили зубы на Соболя. Только Соболя был хитер и не давался волкам.

Я остался на сайме на целый день. Вечером ездили удить рыбу и ставили сети на ночь. Хорошо Светлое озеро, и не даром оно названо Светлым, — вода в нем совершенно прозрачная, так что плывешь на лодке и видишь все дно на глубине несколько сажен. Видны и пестрые камешки, и желтый речной песок, и водоросли, видно, как и рыба ходит «руном», то есть стадом. Таких горных озер на Урале сотни, и все они отличаются необыкновенной красотой. От других Светлое озеро отличалось тем, что прилегало к горам только одной стороной, а другой выходило «в степь», где начиналась благословенная Башкирия. Кругом Светлого озера разлеглись самые привольные места, а из него выходила бойкая горная река, разливавшаяся по степи на целую тысячу верст. Длинной озеро было до двадцати верст, да в ширину около девяти. Глубина достигала в некоторых местах сажен пятнадцати... Особенную красоту придавала ему группа лесистых островов. Один такой островок отделился на самую середину озера и назывался Голодаем, потому что, попав на него в дурную погоду, рыбаки не раз голодали по несколько дней.

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и своя семья и дом, а теперь он жил бобылем. Дети перемерли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. — Жутко одинокому-то в лесу...

— Одному? Тоже и скажет барин... Я тут князь князем живу. Все у меня есть... И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю все. Сердце радуется в другой раз посмотреть на божью тварь... У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего... Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Соболяком. Ах, прокурат!..

Старик ужасно был доволен своим Приемышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом да не дай, в другой раз и не пойдет. Свой характер тоже имеет, даром что птица... С Соболяком тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанет. Известно, пес в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде... Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

Я переночевал и утром на другой день собрался уходить.

— Ужо по осени приходи, — говорит старик на прощанье. — Тогда рыбу лучить будем с острой... Ну, и рябчиков постреляем. Осенний рябчик жирный.

— Хорошо, дедушка, приеду как-нибудь.

Когда я отходил, старик меня вернул:

— Посмотри-ка, барин, как лебедь-то разыгрался с Собольком...

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребенок.

III

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег. Лес и теперь был хорош. Кое-где на березах еще оставался желтый лист. Ель и сосны казались зеленее, чем летом. Сухая осенняя трава выглядывала из-под снега желтой щеткой. Мертвая тишина царила кругом, точно природа, утомленная летней кипучей работой, теперь отдыхала. Светлое озеро казалось больше, потому что не стало прибрежной зелени. Прозрачная вода потемнела, и в берег с шумом била тяжелая осенняя волна...

Избушка Тараса стояла на том же месте, но казалась выше, потому что не стало окружавшей ее высокой травы. Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом еще издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

— Здравствуй, старина!..

— Здравствуй, барин!

— Ну, как поживаешь?

— Да ничего... По осени-то, к первому снегу, прихворнул малость. Ноги болели... К непогоде у меня завсегда так бывает.

Старик действительно имел утомленный вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким. Впрочем, это происходило, как оказалось, совсем не от болезни. За чаем мы разговорились, и старик рассказал свое горе.

— Помнишь, барин, лебедя-то?

— Приемыша?

— Он самый... Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Собольком остались одни... Да, не стало Приемыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушел... Вот как мне обидно это, барин!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним, я ли не водился!.. Из рук кормил... Он ко мне и на голос шел. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Ученая птица. И ведь совсем привыкла... да!.. Уж в заморозки грех вышел. На перелете стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я люблюсь. Пусть божья птица с силой соберется: не близкое место лететь... Ну, а тут и вышел грех. Мой-то Приемыш сначала сторонился от других лебедей: подплывет к ним, и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, а он домой... Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Все, значит, переговариваются по-своему, по-птичье. Ну, а потом, вижу, мой Приемыш

затосковал... Вот все равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнет кричать. Да ведь как жалобно кричит... На меня тоску нагонит, а Соболько, дурак, волком воет. Известно, вольная птица, кровь-то сказала...

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну, и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай... Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в теплую сторону полетят, а что я с вами тут буду зимой делать?» Ах, ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадет...

— Почему пропадет?

— А как же?... Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята, — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: все дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелету. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют... Ну, а мой-то Приемыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Где же ему перелететь? Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадет... Непривычен к дальнему лету.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с грустью заговорил он. — Все равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схирует. Уж птица такая особенная. Ну, и выпустил. Пристал мой Приемыш к стаду, поплавал с ним день, а к вечеру опять домой. Так два дня приплывал. Тоже, хоть и птица, а тяжело с своим домом расставаться. Это он прощаться плавал, барин... В последний-то раз отплыл от берега этак сажен на двадцать, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приемыш?» А Соболько сейчас выть... Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого... Мне по ночам все грезилось, что Приемыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет...

Вот какое дело вышло, барин.

Серая Шейка

I

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чем серьезно подумать.

Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уже собирались стайками и переносились с одного берега на другой по

отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа...

Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет, — жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена

вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьезно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь все равно она должна погибнуть зимой.

II

Старая Утка ввиду близившейся разлуки относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробынешься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, все равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду все время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Все буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Все равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки... Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время... Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы... Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее еще в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости... Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла все.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбилась из трехсот штук. Слышно было только крикание главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая... Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось все сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетающий косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое, и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она все думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я еще была совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой все видно.

Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзло по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свидания!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пятнышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убралась инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу. Да, чудно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя все равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса... Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...

IV

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц все видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логова покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты, смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую...

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить...

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Старицкиные глаза видели плохо и из-за лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелять, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развел руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну, и хитер зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая... Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест! Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утят выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются...»

Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

В глуши

I

Деревня Шалайка засела в страшной лесной глуши, на высоком берегу реки Чусовой. Колесная дорога кончалась в Шалайке, а дальше уже некуда было и ехать. Да никто и не приезжал в Шалайку, за исключением одного священника, жившего в Боровском заводе, до которого считали тридцать верст. Когда он приезжал, то постоянно удивлялся, что у всей деревни одна фамилия — Шалаевы. Собственно, даже фамилии не было, а только прозвище по деревне.

— Как же я вас буду в книге записывать? — говорил священник.

— Вот в нынешнем году три Ивана Шалаевых умерли и три Ивана Шалаевых родились, а в прошлом году было то же самое с Матренами, — две Матрены умерли и две Матрены родились! Всех перепутаешь как раз.

— Уж так с испокон веку, — объяснял староста, — все Шалаевы, и делу конец! Значит, прадед-то наш прозывался Шалаем, вот и вышли все Шалаевы, по прадеду, значит. От начальства тоже прижимки бывают... Как-то лет с пять назад возил я сдавать в солдаты наших парней, и, как на грех, подвернулись три Сидора и все Иванычи. Воинский начальник даже обиделся...

— Надо бы все-таки фамилии придумывать, — советовал священник. — Оно для вас же удобнее.

— А для чего нам, батюшка, фамилии? Живем в лесу с испокон веку и друг дружку знаем... А покойников на том свете господь-батюшка разберет и без нас, кто чего стоит.

Издали Шалайка была очень красива, особенно если смотреть с реки, — избы стояли на самом солнышке, как крепкие зубы, и какие были избы: одна другой лучше, — благо лес был под рукой и обошел деревушку зеленой зубчатой стеной. Пашен было совсем мало, потому что шалаевцы промышляли главным образом лесом, да и в горах лета стоят холодные и земля плохо родила. Вот сено было нужно, и его косили по лесным еланям (*Елани — широкие поляны в лесу. — прим. автора*) или по мысам на реке Чусовой и заливым побережьям. Всех дворов в Шалайке насчитывали двадцать семь, и все шалаевцы составляли одну громадную семью, связанную родственными отношениями.

Изба Пимки стояла на самом юру, то есть почти на обрыве. Летом из окошек можно видеть разлив реки Чусовой верст на пять.

Сейчас за рекой шел нескончаемый лес, и никто в Шалайке не знал, где он кончался, точно деревня стояла на краю света.

Пимке шел уже десятый год, и он нигде не бывал и ничего не видал, кроме своей деревни. Нужно сказать, что шалаевцы ужасно любили свою деревню и даже гордились ею. Когда молодых парней сдавали в солдаты, они расставались с родным гнездом с такими слезами, каких, вероятно, не проливают рекруты из Москвы или Петербурга. Можно было подумать, что только и можно было жить на белом свете, как в Шалайке. Пимка помнил, как провожали в солдаты его старшего брата Ефима и других парней, и тоже ревел вместе со всеми.

— Перестаньте вы, глупые! — уговаривал дядя Акинтич, отставной солдат. — О чем вы плачете? Не с волками будет жить, а с добрыми людьми; по крайней мере, всего посмотрит, как другие живут, ну, и поучится на людях. В Шалайке-то всю бы жизнь в лесу прожил... Невелика радость!

Солдату Акинтичу никто не верил. Хорошо было говорить, когда сам отслужил свою службу. Если бы уж было так сладко на чужой стороне, так зачем солдат вернулся опять к себе в Шалайку?

Акинтич жил у отца Пимки, потому что своя семья как-то разошлась: старики примерли, сестры повыходили замуж, а о женатыми братьями солдат не ладил. Пимка ужасно любил солдата Акинтича, который так хорошо рассказывал и знал решительно все, рассказывал даже лучше баушки[2] Акулины, которая знала только сказки да «про старину». Когда брат Ефим ушел в солдаты, Акинтич занял его место. Семья была хоть и большая, но настоящих работников оставалось всего двое: отец Егор да второй брат Андрей. Был еще дедушка Тит, только он уже не мог идти за работника, потому что жил больше в лесу и домой редко выходил. Бабы в счет не шли. Мать, Авдотья, управлялась по дому, а старшая сестра, Домна, была «не совсем умом». С этой Домной вышел такой случай. Летом бабы пошли за малиной на старый Матюгин курень[3], и Домна с ними. Она была еще подростком и как-то отбилась от партии. Искали-искали ее бабы и не могли найти. Потом целых три дня искали по лесу всей деревней и тоже не нашли. Так и решили, что Домну задрал медведь. Разыскал ее уж на пятый день дедушка Тит. Забилась Домна на сосну, уцепилась и голосу не подает. Едва старик отцепил ее от дерева и привел домой еле живую. С тех пор Домна стала «не совсем умом». Все молчит, что ей ни говорят. Работать работала, когда мать заставляла, а так — все равно что дитя малое. Деревенские ребятишки любили ее дразнить. Обступят гурьбой и кричат:

— Домна, покажи, как лешак хохочет...

Стоило ей сказать это, как Домна принималась дико хохотать, выкатывала глаза и делалась такой страшной. Все говорили, что она видела «лешака» и что он пугал ее своим хохотом. Кроме Домны, были еще ребятишки, но те — совсем малыши и ни в какой счет не шли.

Вся Шалайка промышляла лесной работой, и семья Пимки тоже. Еще дед Тит работал в курене, и отец Егор принял его работу. Другие рубили дрова, вывозили лес на Чусовую, где вязались плоты и сплавлялись бревна на нижние пристани. Работа была не легкая, но все привыкли к ней и ничего лучшего не желали. Да и чего же можно желать, когда человек сыт, одет и в тепле? Пимка тоже знал, что будет работать в курене, и часто говорил отцу:

— Тятя, а когда ты возьмешь меня в курень?

— Погоди, твое время еще впереди, Пимка... Успеешь и в курене наработаться, дай срок.

И Пимка ждал. Ему казалось, что как только он уедет в курень, так сейчас же сделается большим. До куреня считали верст тридцать, и проехать туда можно было только зимними дорогами. Дедушка Тит оставался там иногда и на лето. Пимку беспокоило немного только одно, — в лесу «блазнит»^[4], как поблазнило Домне. Того и гляди, что лешак глаза отведет и в лесу запутает. Впрочем, лешак и около самой Шалайки пошаливал, особенно за Чусовой. Баушка Акулина не раз слыхала, как он ухает по ночам, а одну бабу на покосе лешак совсем было задушил. Еще страшнее была лешачиха, которая жила прямо в воде, на Чусовой. Ее и большие мужики боялись; когда по ночам лешачиха шлепалась в воде, по всей реке гул шел. Лешачиха любила подкарауливать в жаркие летние дни маленьких ребятишек, когда они выходили купаться в Чусовой, и утаскивала их к себе в омут. Все знали, что она жила в омуте, всего с версту от Шалайки, где стояла высокая скала, а под ней в реке и дна не было. Дед Тит своими глазами видел лешачиху, только не любил об этом рассказывать: вся черная, обросла мокрой шерстью, а глаза, как у волка. Только один солдат Акинтич не боялся ни лешака, ни лешачихи и даже ездил по ночам ловить рыбу в омуте.

— Пустые слова это старухи болтают, Пимка, — коротко объяснял он. — А ты, главное, ничего не бойся... ни-ни! И никогда тебе страшно не будет... Понимаешь ты это самое дело?

— А ежели лешачиха за ногу сцапает? — спрашивал Пимка.

— Не сцапает... А ежели что — ты ее в морду. И лешак тоже пустое дело... Он ухнет, а ты еще пуще ухни. Он ребенком заплачет, а ты опять ухни... Хорошо ему баб пугать. Говорю: ничего не бойся, Пимка, и не будет страшно.

Мы уже сказали, что в Шалайку никто не приезжал, да и ехать дальше было некуда. Из «чужестранных» людей изредка появлялись только куренные подрядчики да охотники, промышлявшие поздней осенью рябчиков и белку. Солдат Акинтич тоже «ясачил» в свободное время и водил дружбу со всеми охотниками. Они и останавливались в избе Егора. Пимка, лежа на полатах, любил послушать охотничьи рассказы, особенно когда заходила речь о проказах косолапого Мишки. Дедушка Тит убил не один десяток медведей, но не любил об этом говорить. Он бросил совсем охоту, когда последний медведь так помял ему ногу, что дедушка остался хромым на всю жизнь. Акинтич, выпивши, любил похвастаться своей удалей и рассказывал охотникам небывалые вещи про свои подвиги, пока брат Егор не останавливал его:

— Будет тебе врать, Акинтич... Как раз подавишься.

Самое веселое время в Шалайке было весной, когда по Чусовой проходил сверху караван. Вешняя полая вода подымалась в реке сажени на две, и по ней быстро летели сотни барок. Вся деревня высыпала на берег посмотреть. Пимка тоже смотрел и думал о том, куда плывут барки и какие люди на них плывут. Акинтич один из всей деревни плавал на барке и рассказывал разные страсти о том, как неистово играет в камнях река, как бьются о скалы барки, как тонет народ. Акинтич знал решительно все на свете и называл какие-то мудреные места, куда сгоняют все барки.

— Там, брат, народ богатый живет, — объяснял он Пимке. — И все покупают, что ни привези... И лес, и железо, и медь, и белку, и рябчика — только подавай. Дома там каменные, а по реке бегут пароходы.

Пимке шел одиннадцатый год, когда отец сказал:

— Ну, Пимка, собирайся в курень... Пора, брат, и тебе мужиком быть.

Это было в начале зимы, когда встала зимняя дорога. Пимка был и рад, но и побаивался. В курене, — конечно, лешахи не было, а зато были медведи. Он никому не сказал про свой страх, потому что настоящие мужики ничего не боятся. Мать еще с лета заготовила будущему мужику всю необходимую одежду: коротенький полушубок из домашней овчины, из собачьего меха ягу[5], пимы, собачьи шубенки[6], такой же трех-шапку — все, как следует настоящему мужику. По зимам стояли страшные морозы, когда птица замерзала на лету, — недели по две, и спасал только теплый собачий мех. Особенно доставалось углевозам, которые возили уголь с куреня в Боровский завод. Редкий не отмораживал себе щек и носа. Мать почему-то жалела Пимку и на проводинах всплакнула.

— Ты смотри, Пимка, не застудись... В балагане[7] будешь жить, а там вот какая стужа.

— Ничего, мамка! — весело отвечал Пимка. — Я с Акинтичем буду жить, а он все знает... Мы еще медведя с ним залобуем[8].

— Ладно... Вот уши себе не отморозь.

— Мы его в кашевары поставим, — объяснял отец. — Чего ему дома-то зря болтаться, а там дело будет делать. Тоже кошку не заставишь кашу варить... Так, Пимка? Дед тебе обрадуется... Старый да малый — будете жить в балагане.

— Я, тятя, ничего не боюсь.

— А чего бояться? С людьми будешь жить.

Пимке ужасно понравилась дорога в курень, которая шла все время лесом. Снег только что выпал, и болота еще не успели замерзнуть по-настоящему. Ехали в большом угольном коробе, сплетенном дедушкой Титом из черемуховых прутьев. Старик целое лето оставался в курене, гнул березовые полозья для саней, дуги и плел коробья. Он все умел делать, что было нужно для куренной работы и для домашности. Мужикам — топорища, бабам — корыта и вальки — все нужно. Лес только еще был запущен первым снегом. Дремучие ельники стояли стена стеной, точно войско. На месте старых куреней росли осинники и березняки. Зимой они имели такой голый вид. Отец правил лошадью и время от времени говорил Пимке:

— Смотри, вон заячий след... Видишь, какие петли наделал по снежку. Такие узоры поведет, что и не распутаешь. А вон лиса прошла... Эта, как барыня, идет и след хвостом замечает.

В одном месте Егор остановил лошадь, долго рассматривал след и объяснял:

— Волчья стая прошла... Они, брат, как солдаты, шаг в шаг ступают. Прошла стая, а след точно от одного... Наш лесной волк не страшен, потому как везде ему по лесу пища: зайца поймает, рябчиком закусит, а то и целого глухаря раздобудет. Смышлястый зверь...

В другом месте Егор показал Пимке большой след. На молодом снегу отпечатались точно коровьи копыта.

— Это зверь сохатый прошел... Вон как отмахивал. В самый бы раз нашему солдату его залобовать... Весь бы курень был сыт, а кожу продал бы в заводе. Надо будет ему сказать... Пусть по следу его ищет.

В курень приехали уже ночью. Было совсем темно, и Пимка задремал, свернувшись калачиком на дне короба. Место куреня можно было заметить издали по зареву, которое поднималось над горевшими «кучонками», то есть кучами из длинных дров, обложенных сверху дерном. Немного в стороне стояли четыре балагана. Егор подъехал к тому, в котором жил дедушка Тит. Еще издали гостей встретила лаем пестрая собака Лыско, которая очень сконфузилась, когда узнала свою лошадь. На лай изо всех балаганов показались мужики.

— Это ты, Егор?

— Верно, я... Вот я вам какого зверя привез. Пимка, вылезай...

Выскочил из балагана Акинтич и вытащил Пимку, который никак не мог проснуться. Когда Акинтич его встряхнул, Пимке показалось очень холодно. В балагане сидел дедушка Тит и наблюдал за кипящим на очаге из камней железным котелком, в котором варилась просяная каша на ужин. Увидав внука, старик обрадовался.

— Ну, ну, садись, гость будешь, — говорил он. — Что, озяб? погоди, вот поешь каши и согреешься.

Балаган представлял собой большую низкую избу, без окон и без трубы. Заднюю половину занимали сплошные полаты на старых еловых пнях. Налево от низенькой двери в углу был устроен из больших камней очаг. Вместо трубы в крыше чернела дыра, и дым расстилался по всему балагану, так что стоять было невозможно, и Пимка сейчас же закашлялся, наглотавшись дыма. Потолок и стены были покрыты сажей.

— Что, не понравилось наше угощение? — шутил Акинтич. — А ты пока садись на пол, Пимка, вот к дедушке...

Старый Тит ужасно был рад внуку и посадил его рядом с собой на обрубок бревна. Старику было под восемьдесят, и его седая борода превратилась в желтую, но он еще держался крепко, а в работе, пожалуй, не уступал и молодым мужикам. Только, к несчастью, у дедушки Тита начинала болеть спина и «тосковали» застуженные ноги.

— Вот тебе, дедушка, и помощник, — галдели набравшиеся в балаган мужики. — Он, брат, этот самый Пимка, ежели до каши, так первый работник...

Все дроворубы и углежоги благодаря жизни в курных балаганах походили на трубочистов. Все равно, мойся не мойся, а от дыма и сажи не убережешься. Теперь все были рады новому человеку и шутили над малышом, как кто мог придумать. Пимка был совершенно счастлив. Мужики были все свои, шалайские, и он всех знал в лицо. Отец Пимки привез из деревни всякой всячины и теперь делил — кому хлеба, кому шубу, кому новый топор, кому приварок ко щам, кому новую рубаху.

Пимка наелся горячей каши с таким удовольствием, как никогда не едал, и тут же заснул, сидя на обрубке около деда.

— Ну, надо малыша на перину укладывать, — шутил Акинтич, устраивая на нарах для Пимки постель из сена. — Вот мы тут зеленого пуху настелем, — спи только.

Сонного Пимку Акинтич перенес на руках, уложил на нарах и прикрыл своей ягой.

— Ишь ты, как малыша сон-то забрал! — удивлялись мужики. — Это он намерзся дорогой-то да прямо в тепло и попал, ну и разомлел...

Один по одному мужики разошлись из балагана деда Тита. Утром всем надо было рано вставать.

Утром на другой день Пимка проснулся рано, проснулся от страшного холода. В балагане было тепло, пока горел огонь на очаге; а только огонь гас — все тепло уходило частью кверху в дымовую дыру, частью — в плохо сколоченную дверь. Плохо было то, что приходилось выжидать, пока огонь прогорит дотла и выйдет дым; потом уже дедушка Тит поднимался на крышу и прикрывал дымовую дыру еловой корой, а сверху заваливал хвоей. В балагане было или страшно жарко, или страшно холодно.

Работа на курене уже кипела, когда Пимка вышел из балагана. Дедушка Тит у самого балагана налаживал новые дровни. Где-то в лесу трещали топоры, рубившие застывшее дерево, а на свежей поруби сильно дымили до десятка кучонков. Это были кучи больше сажени в высоту и шириной сажень до трех. Внутри уложены были дрова стоймя и горели медленным огнем, вернее, не горели, а медленно тлели. Весь секрет состоял в том, чтобы дерево не истлело совсем, а получился крепкий уголь. Такой кучонок горел недели две, пока не превращались в уголь все дрова. У каждого кучонка был свой «жигаль», который должен был следить за всем. Вся работа пропадала, если огонь где-нибудь пробивался сквозь дерн, и тогда весь уголь сгорал. «Жигали» не отходили от своих кучонков ни днем, ни ночью. Это была самая трудная и ответственная работа. Дроворуб ничем не рисковал, и углевоз тоже, а «жигаль» отвечал за все. В «жигали» поступали самые опытные рабочие. Издали эти кучонки походили на громадные муравейники, с той разницей, что последние не дымятся, а от кучонков валил день и ночь густой дым. Выгоревший кучонок должен был еще долго отдыхать, пока окончательно не остынет весь уголь. Дедушка Тит «ходил в жигальях» лет сорок, а теперь его заменил сын Егор. Куренные мужики на этом основании сразу прозвали Пимку «жигаленком».

В первый же день Пимка освоился со всеми порядками куренной жизни. Вставали до свету, закусывали, чем бог послал, а потом шли на работу до обеда. После обеда немного отдыхали и потом работали, пока было светло. Работа была тяжелая у всех, и ее выносили только привычные люди. Дроворубы возвращались в балаган, как пьяные, — до того они выматывали себе руки и спину. Углевозы маялись дорогой, особенно в морозы, когда холодом жгло лицо. А всего хуже было жить в курных, всегда темных балаганах, да и еда была самая плохая: черный хлеб да что-нибудь горячее на придачу, большей частью — каша. Где же мужикам стряпню разводить!

— Уж и жизнь только, — ворчал солдат Акинтич, отвыкший за все время своей солдатчины от тяжелой куренной работы. — Брошу все и уйду куда глаза глядят. Главная причина, что нет бани. Весь точно из трубы сейчас вылез.

Все куренные мечтали о бане и завидовали каждому, кто отправлялся в деревню; поехал, значит, и в бане побывает. Ездили по очереди, а в целую зиму другому придется побывать всего два раза.

Пимка прожил несколько дней в курене, и его страшно потянуло домой. Очень уж тяжело было жить в лесу, и мальчик совершенно был согласен с дядей Акинтичем, что надо отсюда уходить куда глаза глядят. Пимка даже всплакнул потихоньку ото всех.

III

Самое тяжелое были праздники. Конечно, можно было съездить в Шалайку «на обыденку», но все жалели маять напрасно лошадей. Взад и вперед нужно было сделать верст шестьдесят, да еще плохой лесной дорогой. В праздник работать грешно, и все убивали время как-нибудь.

Сидеть днем по темным балаганам было тошно, и все собирались «на улицу». Разведут громадный костер, рассядутся кругом и балагурят. Первым человеком на этих беседах, конечно, был Акинтич, которого солдатом гоняли до Москвы. Все остальные дальше Боровского завода не бывали. Акинтич и сам любил рассказать разную побывальщину.

— Ты только, пожалуйста, не ври, солдат, — упрашивали куренные мужики.

— Чего мне врать-то? Вы ничего не видали, вот вам и кажется, что все удивительно... Возьмите теперь хоть пароход — во какая махинища! Народу на нем едет человек с тыщу, а он еще за собой не одну барку волокет. Всю Шалайку свезет зараз... А то теперь чугунок. Ну, эта еще помудреннее: как свистнет, — и полетела. Тоже волокет народу видимо-невидимо и кладь всякую. Сидишь себе, как в избе, и в окошечко поглядываешь, тоже как в избе. Не успел оглянуться, а она уж опять свистнула, — значит, приехали. Теперь вот ежели бы до Боровского завода наладить чугунок, — в один бы час с куреня махнули туда, а теперь вы с углем ползете все шесть часов, да сколько дорогой намаетесь.

— Ах, солдат, врешь!..

— Ну, как же я с вами разговаривать буду, ежели вы ничего не понимаете?

И Пимке тоже казалось, что солдат врет, особенно когда рассказывает, как живут в разных городах. Пимке казалось, что все люди должны рубить дрова и делать уголь, а тут вдруг каменные дома, каменные церкви, пароходы, чугуны и прочие чудеса. Куренные мужики иногда для шутки начинали высмеивать солдата:

— Может, ты, солдат, и по небу летал? Чего тебе стоит соврать-то?

Акинтич свирепел и начинал ругаться. Он ужасно смешно сердился, и все хохотали.

— Уйду я от вас, вот и конец тому делу! Надоело мне с вами в темноте жить... Уйду в город и поступлю дворником к купцу. Работа самая легкая: подмел двор, принес дров, почистил лошадь — вот и все. В баню хоть каждый день ходи... Одежда на тебе вся чистая, а еды до отвала. Щи подадут — жиру не продаешь; кашу подадут — ложка стоит, точно гвоздь в стену заколотил. А главное дело — чай... Уж так я, братцы, этот самый чай люблю, и не выговоришь.

— Да он с чем варится, чай-то?

— Трава такая... китайская...

— Может, крупы там или говядины прибавляют?

— Ах ты, боже мой... И что я только буду с вами делать? Ну, как есть ничего не понимает народ... Одним словом, с сахаром чай пьют! Поняли теперь? Да нет, куда вам... Тоже вот взять лампу, — вы и не видывали, а вещь первая. В Шалайке-то с лучиной сидим, а добрые люди с лампой. Значит, ну, по-вашему плошка такая стеклянная, в ей масло такое налито, керазим называется, ну, фитилек спущен, по-вашему — светильня; ну, сейчас спичкой — и огонь! А главная причина, можно свет-то прибавлять и убавлять, не то что в свече сальной... Поняли теперь?

— Грешно это все... — говорил дедушка Тит. — Напьюсь это я твоего чаю, наемся щтей да каши, поеду на чугунке али на пароходе, а кто же работать-то будет? Я побегу от черной работы, ты побежишь, за нами ударится Пимка и вся Шалайка, ну, а кто уголья жечь будет?

— И угольев ваших никому не нужно, дедушка, — говорил солдат. — Есть каменный уголь. Из земли прямо добывают.

— Кто его для тебя наклал в землю-то? Ах, солдат. Тоже и придумает.

Дедушка Тит недолюбливал Акинтича за легкомыслие, а главным образом за то, что избаловался он на службе и очень уж любил про легкую жизнь рассказывать. Совсем отбил человек от настоящей мужицкой работы. Старик часто ссорился с Акинтичем из-за его солдатской трубочки и который раз выгонял его из балагана. В Шалайке никто не курил табаку. Куренные мужики пользовались этим и наговаривали деду на солдата.

— Дедушка, солдат рассказывает, што в городе все трубки курят да еще и нос табаком набьют.

— Тьфу!.. Врет он все... — не верил дед. — Грешно и слушать-то. Работать не хотят, вот главная причина, а того не знают, что бог-то труды любит. Какой же я есть человек, ежели не стану работать? Всякая тварь работает по-своему, потому и гнездо надо устроить и своих детенышей прокормить.

— И в городах трудятся по-своему, дедушка, — объяснял солдат. — Только там работа чище вашей... Не меньше нас работают, а может, и побольше. Не всем уголья жечь, а надо и всякое ремесло производить. Кто ситцы, кто сукна, кто сапоги, кто замок мастерит.

— И все это пустое! — сказал дед. — Раньше без ситцев жили, а сукно бабы дома ткали. Все это пустое. Главный же мастер все-таки мужичок, который хлебушко сеет. Вот без хлеба не проживешь, а остальное все пустое. Баловство...

Пимка постоянно думал о том, как живут другие люди на белом свете. Хоть бы одним глазком посмотреть. Может быть, солдат-то и не врёт. Вон он рассказывает, что есть места, где зимы не бывает, и что своими глазами видел самого большого зверя — слона, который ростом с хорошую баню будет. Это детское любопытство разрешилось небывалым случаем.

Раз весь курень спал мертвым сном. Стоял страшный мороз, и даже собаки забились в балаганы. Вдруг среди ночи Лыско сердито заворчал. У него было свое ворчанье на зверя и свое — на человека; теперь он ворчал на человека. Скоро послышались громкие голоса: это была партия железнодорожных инженеров, делавшая изыскание нового пути для новой линии железной дороги. Всех было человек десять: два инженера, их помощники, просто мужики и вожак. Последний сбился с дороги и вывел партию вместо Шалайки на курень. Солдат Акинтич выскочил горошком и пригласил набольшего в свой балаган.

— Ваше высокоблагородие, милости просим. В лучшем виде все оборудуем для вас. Сейчас огонек разведем, в котелке воды согреем. Вы уж извините нас, ваше высокоблагородие.

Пимка в первый раз еще видел чужестранных людей и рассматривал их с удивлением маленького дикаря, точно все они пришли чуть не с того света. Потом его поразила та угодливость, с какой Акинтич ухаживал за гостями и на каждом шагу извинялся.

Набольший барин все-таки сердился, сердился на все: и на то, что все в балагане было покрыто сажей, и на дымившийся очаг, и на заблудившегося вожака, и даже на трещавший в лесу мороз.

— Действительно, ваше высокоблагородие, оно того, значит, дым, — наговаривал Акинтич, — и опять, того, страшный мороз... Вы уж извините, потому как живем в лесу и ничего не знаем, ваше высокоблагородие.

— Ты из солдат? — спрашивал набольший.

— Точно так-с, ваше высокоблагородие... В Москве бывал. Да... А здесь, уж извините, одним словом, лес и никакого понятия.

Пимка увидел, как и чай пьют господа, и как закусывают по-своему, и как папиросы курят. Он даже попробовал сам чаю, то есть съел несколько листочков и убедился, что солдат все врал. Ничего сладкого, а так, трава как трава, только черная.

Рано утром партия отправилась дальше. Теперь ее уже повел Акинтич, не знавший, чем угодить господам.

— Ишь, точно змей извивается... — ворчал дедушка Тит, качая головой. — Ах, солдат, солдат, всех он нас продаст!

А набольший все утро ворчал: и в балагане холодно, и вода в котелке чем-то воняет, и собаки ночью лаяли, — всем недоволен. Пимка стоял с разинутым ртом и все боялся, как бы набольший не треснул его чем. Однако все прошло благополучно.

Когда гости уехали, на курене вдруг точно пусто сделалось. Тихо-тихо так. Все куренные сбились в одну кучу и долго переговаривались относительно уехавших.

— Ах, все это солдат наворожил, — говорил отец Пимки, почесывая в затылке. — Чугунка, чугунка, а она сама и приехала к нам.

Мужики долго соображали, хорошо это будет или худо, когда через их лес наладят чугунку.

— И для чего она нам, эта чугунка? — ворчал дедушка Тит. — Так, баловство одно, а может, и грешно... Ох, помирать, видно, пора!

— Подведет нас всех солдат! Не надо его было пущать с набольшим-то, а то мастер наш солдат зубы заговаривать...

Ровно через три года немного пониже Шалайки через Чусовую железным кружевом перекинулся железнодорожный мост, а солдат Акинтич определился к нему сторожем. У него теперь была и своя будка, и самовар, и новая трубка. Акинтич был счастлив.

Вся Шалайка сбежалась смотреть, когда ждали первого поезда новой чугунки.

Приплелся и старый дед Тит. Старик больше не ездил в курень, потому что прихварывал. Он долго смотрел на Акинтича, который расхаживал около своей будки с зеленым флагом в руках, и наконец сказал:

— Самое это тебе настоящее место, Акинтич. Работы никакой, а жалованье будешь огребать.

Пимка весь замер, когда вдали послышался гул первого поезда. Скоро из-за горы он выполз железной змеей, и раздался первый свисток, навсегда нарушивший покой этой лесной глуши. Акинтич по-солдатски вытянулся в струнку и, поднимая свой флаг, крикнул первому поезду:

— Здравия желаем!!!

Вертел

I

Летнее яркое солнце врывалось в открытое окно, освещая мастерскую со всем ее убожеством, за исключением одного темного угла, где работал Прошка. Солнце точно его забыло, как иногда матери оставляют маленьких детей без всякого призора. Прошка, только вытянув шею, мог видеть из-за широкой деревянной рамы своего колеса всего один уголок окна, в котором точно были нарисованы зеленые грядки огорода, за ними — блестящая полоска реки, а в ней — вечно купающаяся городская детвора. В раскрытое окно доносился крик купавшихся, грохот катившихся по берегу реки тяжело нагруженных телег, далекий перезвон монастырских колоколов и отчаянное карканье галок, перелетавших с крыши на крышу городского предместья Теребиловки.

Мастерская состояла всего из одной комнаты, в которой работали пять человек. Раньше здесь была баня, и до сих пор еще чувствовалась банная сырость, особенно в том углу, где, как паук, работал Прошка. У самого окна стоял деревянный верстак с тремя кругами, на которых шлифовались драгоценные камни. Ближе всех к свету сидел старик Ермилыч, работавший в очках. Он считался одним из лучших гранильщиков в Екатеринбурге, но начинал с каждым годом видеть все хуже. Ермилыч работал, откинув немного голову назад, и Прошке была видна только его борода какого-то мочального цвета. Во время работы Ермилыч любил рассуждать вслух, причем без конца бранил хозяина мастерской, Ухова.

— Плут он, Алексей-то Иваныч, вот что! — повторял старик каким-то сухим голосом, точно у него присохло в горле. — Морит он нас, как тараканов. Да... И работой морит и едой морит. Чем он нас кормит? Пустые щи да каша — вот и вся еда. А какая работа, ежели у человека в середке пусто?... Небойсь сам-то Алексей Иваныч раз пять в день чаю напьется. Дома два раза пьет, а потом еще в гости уйдет и там пьет... И какой плут: обедает вместе с нами да еще похваливает... Это он для отводу глаз, чтобы мы не роптали. А сам, наверно, еще пообедает наособицу.

Эти рассуждения заканчивались каждый раз так:

— Уйду я от него — вот и конец делу. Будет, — одиннадцать годиков поработал на Алексея Иваныча. Довольно... А работы сколько угодно... Сделай милость, кланяться не будем...

Работавший рядом с Ермилычем чахоточный мастер Игнатий обыкновенно молчал. Это был угрюмый человек, не любивший даром терять слова. Зато подмастерье Спирька, молодой, бойкий парень, щеголявший в красных кумачных рубахах, любил подзадорить дедушку, как называли рабочие старика Ермилыча.

— И плут же он, Алексей-то Иваныч! — говорил Спирька, подмигивая Игнатию. — Мы-то чахнем на его работе, а он плутует. Целый день только и делает, что ходит по городу да обманывает, кто попроще. Помнишь, дедушка, как он стекло продал барыне в проезжающих номерах? И еще говорит: «Сам все работаю, своими руками...»

— И еще какой плут! — соглашался Ермилыч. — В прошлом году вот как ловко подменил аметист проезжающему барину! Тот ему дал поправить камень, потому грань притупилась и царапины были. Я и поправлял еще... Камень был отличный!.. Вот он его себе и оставил, а проезжающему-то барину другой всучил... Известно, господа ничего не понимают, что и к чему.

Четвертый рабочий, Левка, немой от рождения, не мог принимать участия в этих разговорах и только мычал, когда Ермилыч знаками объяснял ему, какой плут их хозяин.

Сам Ухов заглядывал в свою мастерскую только рано утром, когда раздавал работу, да вечером, когда принимал готовые камни. Исключение представляли те случаи, когда попадала какая-нибудь срочная работа. Тогда Алексей Иваныч забежал по десяти раз, чтобы поторопить рабочих. Ермилыч не мог терпеть такой срочной работы и каждый раз ворчал.

Всего смешнее было, когда Алексей Иваныч приходил в мастерскую, одетый, как мастеровой, в стареньком пиджаке, в замазанном желтыми пятнами наждака переднике. Это значило, что кто-нибудь придет в мастерскую, какой-нибудь выгодный заказчик или любопытный проезжающий. Алексей Иваныч походил на голодную лису: длинный, худой, лысый, с торчавшими щетиной рыжими усами и беспокойно бегавшими бесцветными глазами. У него были такие длинные руки, точно природа создала его специально для воровства. И как ловко он умел говорить с покупателями. А уж показать драгоценный камень никто лучше его не умел. Такой покупатель разглядывал какую-нибудь трещину или другой порок только дома. Иногда обманутые являлись в мастерскую и получали один и тот же ответ, — именно, что Алексей Иваныч куда-то уехал.

— Как же это так? — удивлялся покупатель. — Камень никуда не годится...

— Мы ничего не знаем, барин, — отвечал за всех Ермилыч. — Наше дело маленькое...

Все рабочие обыкновенно покатывались со смеху, когда одураченный покупатель уходил.

— А ты смотри хорошенько, — наставительно замечал Ермилыч, косвенно защищая хозяина, — на то у тебя глаза есть... Алексей-то Иваныч выучит.

Всех больше злорадствовал Спирька, хохотавший до слез. Все-таки развлечение, а то сиди день-деньской за верстаком, как пришитый. Да и господ жалеть нечего: дикие у них деньги, — вот и швыряют их.

Работа в мастерской распределялась таким образом. Сырые камни сортировал Ермилыч, а потом передавал их Левке «околтать», то есть обколоть железным молотком, так, чтобы можно было гранить. Это считалось черной работой, и только самые дорогие камни, как изумруд, окалтывал Ермилыч сам. Околтанные Левкой камни поступали к Спирьке, который обтачивал их начерно. Игнатий уже клал фасетки (грани), а Ермилыч поправлял еще раз и полировал. В результате получались играющие разными цветами драгоценные и полудрагоценные камни: изумруды, хризолиты, аквамарины, тяжеловесы (благородный топаз), аметисты, а больше всего — раух-топазы (дымчатого цвета горный хрусталь) и просто горный бесцветный хрусталь. Изредка попадали и другие камни, как рубины и сапфиры, которые Ермилыч называл «зубастыми», потому что они были тверже всех остальных. Аметисты Ермилыч называл архиерейским камнем. Старик относился к камням, как к чему-то живому, и даже сердился на некоторые из них, как хризолиты.

— Это какой камень? Прямо сказать, враг наш, — ворчал он, пересыпая на руке блестящие изумрудно-зеленые зерна. — Всякий другой камень мокрым наждаком точится, а этому подавай сухой. Вот как наглотаешься пыли-то... Одна маета.

Большие камни точились прямо рукой, нажимая камнем на вертевшийся круг, а мелкие предварительно прилеплялись особой мастикой к деревянной ручке. Во время работы вертевшийся круг постоянно смачивался наждаком. Наждак — порода корунда, которую для гранения и шлифования превращают в мельчайший порошок. При работе высохший наждак

носятся мелкой пылью в воздухе, и рабочие поневоле дышат этой пылью, засоряя легкие и портя глаза. Благодаря именно этой наждачной пыли большинство рабочих-гранильщиков страдают грудными болезнями и рано теряют зрение. Прибавьте к этому еще то, что работать приходится в тесных помещениях, без всякой вентиляции, как у Алексея Иваныча.

— Тесновато... да... — говорил сам Ухов. — Ужо новую мастерскую выстрою, как только поправлюсь с делами.

Год шел за годом, а дела Алексея Иваныча все не поправлялись. Относительно пищи повторялось то же самое. Алексей Иваныч сам иногда возмущался обедам своих рабочих и говорил:

— Какой это обед? Разве такие обеды бывают?.. Вот только поправлюсь делами, тогда все повернем по-настоящему.

Алексей Иваныч никогда не спорил, не горячился, а соглашался со всеми и делал по-своему. Даже Ермилыч, как ни бранил хозяина за глаза, говорил:

— Ну, и человек тоже уродился! Его, Алексея Иваныча, как живого налима, никак не ухватишь рукой. Глядишь, и вывернулся. А на словах-то, как гусь на воде... Он же еще и жалеет нас!.. И тесно-то нам, и еда-то плохая... Ах, какой человек уродился!.. Одним словом, кругом плут!..

II

Солнце светило во все глаза, как оно светит только в июле. Было часов одиннадцать утра. Ермилыч сидел на самом припеке и наслаждался теплом. Его уже не грела старая кровь. Прошка думал целое утро об обеде. Он постоянно был голоден и жал только от еды до еды, как маленький голодный зверек. Он рано утром заглядывал в кухню и видел, что на столе лежал кусок «шейны» (самый дешевый сорт мяса, от шеи), и вперед предвкушал удовольствие поестей с говядиной. Что может быть лучше таких щей, особенно когда жир покрывает вареном слоем чуть не в вершок, как от свинины?.. Сейчас, летом, свинина дорога, и это удовольствие доступно только зимой, когда привозят в город мороженных свиней и Алексей Иваныч покупает целую тушку. Хороша и шейна, если хозяйка не разбавит щи водой. От этих мыслей у Прошки щемило в желудке, и он глотал голодную слюну. Если бы можно было наесться досыта каждый день!..

Прошка вертел свое колесо, закрыв глаза. Он часто так делал, когда мечтал. Но его мысли сегодня были нарушены неожиданным появлением Алексея Иваныча. Это значило, что кто-то придет в мастерскую и что придется ждать обеда. Алексей Иваныч нарядился в свой рабочий костюм и озабоченно посмотрел кругом.

— Этакая грязь!.. — думал он вслух. — И откуда только она берется? Хуже, чем в конюшне... Спирька, хоть бы ты прибрал что-нибудь!

Спирька с недоумением посмотрел кругом. Если убирать, так надо всю мастерскую разнести по бревнышку. Он все-таки перенес из одного угла в другой несколько тяжелых камней, валявшихся в мастерской без всякой надобности. Этим все и кончилось. Алексей Иваныч только покачал головой и проговорил:

— Ну и мастерская, нечего сказать! Только свиней держать.

Время подошло к самому обеду, когда у ворот уховского дома остановился щегольский экипаж и из него вышла нарядная дама с двумя детьми: девочкой лет двенадцати и мальчиком лет

десяти. Алексей Иваныч выскочил встречать дорогих гостей за ворота без шапки и все время кланялся.

— Уж вы извините, сударыня!.. Грязновато будет в мастерской; а камушки вы можете посмотреть у меня в доме.

— Нет, нет, — настойчиво повторяла дама. — Камни я могу купить и в магазине; а мне именно хочется посмотреть вашу мастерскую, то есть показать детям, как гранятся камни.

— А, это другое дело! Милости просим...

Дама поморщилась, когда переступила порог уховской мастерской. Она никак не ожидала встретить такое убожество.

— Отчего у вас так грязно? — удивлялась она.

— Нам никак невозможно соблюдать чистоту, — объяснял Алексей Иваныч. — Известно, камень... Пыль, сор, грязь... Уж как стараемся, чтобы почище...

Эти объяснения, видимо, нисколько не убедили даму, которая брезгливо подобрала юбки, когда переходила от двери к верстаку. Она была такая еще молодая и красивая, и уховская мастерская наполнилась запахом каких-то дорогих духов. Девочка походила на мать и тоже была хорошенькая. Она с любопытством слушала подробные объяснения Алексея Иваныча и откровенно удивилась в конце концов тому, что из такой грязной мастерской выходят такие хорошенькие камушки.

— Да, барышня, случается, — объяснил Ермилыч, — и белый хлеб, который изволите кушать, на черной земле родится.

Алексей Иваныч прочитал целую лекцию о драгоценных камнях. Сначала показал их в сыром виде, а потом — последовательную обработку.

— Прежде камней было больше, — объяснял он, — а теперь год от году все меньше и меньше. Вот взять александрит, — его днем с огнем не найдешь. А господа весьма его уважают, потому как он днем зеленый, а при огне — красный. Разного сословия бывает, сударыня, камень, все равно как бывают разные люди.

Мальчик совсем не интересовался камнями. Он не понимал, чем любуются мать и сестра и чем хуже граненые цветные стекла. Его больше всего заняло деревянное большое колесо, которое вертел Прошка. Вот это штука действительно любопытная: такое большое колесо и вертится! Мальчик незаметно пробрался в темный угол к Прошке и с восхищением смотрел на блестящую железную ручку, за которую вертел Прошка.

— Отчего она такая светлая?

— А от рук, — объяснил Прошка.

— Дай-ка я сам поверчу...

Прошка засмеялся, когда барчонок принялся вертеть колесо.

— Да это очень весело... А тебя как зовут?

— Прошкой.

— Какой ты смешной: точно из трубы вылез.

— Поработай-ка с мое, так не так еще почернеешь.

— Володя, ты это куда забрался? — удивилась дама. — Еще ушибешься...

— Мамочка, ужасно интересно!.. Отдай меня в мастерскую, — я тоже вертел бы колесо. Очень весело!.. Вот, смотри! И какая ручка светлая, точно отполированная. А Прошка походит на галчонка, который жил у нас. Настоящий галчонок...

Мать Володи заглянула в угол Прошки и только покачала головой.

— Какой он худенький! — пожалела она Прошку, — Он чем-нибудь болен?

— Нет, ничего, слава богу! — объяснил Алексей Иваныч. — Круглый сирота, — ни отца, ни матери... Не от чего жиреть, сударыня! Отец умер от чахотки... Тоже мастер был по нашей части. У нас много от чахотки умирает...

— Значит, ему трудно?

— Нет, зачем трудно? Извольте сами попробовать... Колесо, почитай, само собой вертится.

— Но ведь он работает целый день?

— Обыкновенно...

— А когда утром начинаете работать?

— Не одинаково, — уклончиво объяснил Алексей Иваныч, не любивший таких расспросов. — Глядя по работе... В другой раз — часов с семи.

— А кончаете когда?

— Тоже не одинаково: в шесть часов, в семь, — как случится.

Алексей Иваныч приврал самым бессовестным образом, убавив целых два часа работы.

— А сколько вы жалованья платите вот этому Прошке?

— Помилуйте, сударыня, какое жалованье! Одеваю, обуваю, кормлю, все себе в убыток. Так, из жалости и держу сироту... Куда ему деться-то?

Дама заглянула в угол Прошки и только пожала плечами. Ведь это ужасно: целый день провести в таком углу и без конца вертеть колесо. Это какая-то маленькая каторга...

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Двенадцать...

— А на вид ему нельзя дать больше девяти. Вероятно, вы плохо его кормите?

— Помилуйте, сударыня! Еда для всех у меня одинаковая. Я сам вместе с ними обедаю. Прямо сказать, в убыток себе кормлю; а только уж сердце у меня такое... Ничего не могу поделать и всех жалею, сударыня.

Барыня отобрала несколько камней и просила прислать их домой.

— Пошлите камни с этим мальчиком, — просила она, указывая глазами на Прошку.

— Слушаюсь-с, сударыня!

Последнее желание не понравилось Алексею Иванычу. Эти барыни вечно что-нибудь придумают! К чему ей понадобился Прошка? Лучше он сам бы принес камни. Но делать нечего, — с барыней разве сговоришь? Прошка так Прошка, — пусть его идет; а у колеса поработает Левка.

Когда барыня уехала, мастерская огласилась общим смехом.

— Духу только напустила! — ворчал Ермилыч. — Точно от мыла пахнет...

— Она и Прошку надушит, — соображал Спирька. — А Алексей Иваныч охулки на руку^[9] не положил: рубликов на пять ее околпачил.

— Что ей пять рублей? Наплевать! — ворчал Ермилыч. — У барских денежек глаз нет... Вот и швыряют. Алексей-то Иванычу это на руку. Вот как распинался он перед барыней: соловьем так и поет.

— Платье на ней шелковое, часы золотые, колец сколько... Богатеющая барыня!

— Ну, это еще неизвестно. Одна видимость в другой раз. Всякие господа бывают...

Дорогой маленький Володя объяснил матери, что Прошка «вертел».

— Что это значит? — не понимала та.

— А вертит колесо, — ну, и вышел: вертел. Не вертел, мама, а вертел.

III

Бедного Прошку часто занимал вопрос о тех неизвестных людях, для которых он должен был с утра до ночи вертеть в своем углу колесо. Другие дети веселились, играли и пользовались свободой; а он был точно привязан к своему колесу. Прошка понимал, что у других детей есть отцы и матери, которые их берегут и жалеют; а он — круглый сирота и должен сам зарабатывать свой маленький кусочек хлеба. Но ведь круглых сирот много на белом свете, и не все же должны вертеть колеса. Сначала Прошка возненавидел свое колесо, потому что, не будь его, и не нужно было бы его вертеть. Это была совершенно детская мысль. Потом Прошка начал ненавидеть Алексея Иваныча, которому его отдала в ученье тетка: Алексей Иваныч нарочно придумал это проклятое колесо, чтобы мучить его.

«Когда я вырасту большой, — раздумывал Прошка за работой, — тогда я отколочу Алексея Иваныча, изрублю топором проклятое колесо и убегу в лес».

Последняя мысль нравилась Прошке больше всего. Что может быть лучше леса? Ах, как там хорошо!.. Трава зеленая-зеленая, сосны шумят вершинами, из земли сочатся студёные ключики, всякая птица поет по-своему, — умирать не нужно! Устроить из хвои шалашик, разложить огонек, — и живи себе, как птица. Пусть другие задыхаются в городах от пыли и вертят колеса... Прошка уже видел себя свободным, как птица.

«Убегу!.. — решал Прошка тысячу раз, точно с кем-нибудь спорил. — Даже и Алексея Иваныча

не буду бить, а просто убегу».

Прошка думал целые дни, — вертит свое колесо и думает, думает без конца. Разговаривать за работой было неудобно, не то что другим мастерам. И Прошка все время думал, думал до того, что начинал видеть свои мысли точно живыми. Видел он часто и самого себя и непременно большим и здоровым, как Спирька. Ведь хорошо быть большим. Не понравилось у одного хозяина, — пошел работать к другому.

Ненависть к Алексею Иванычу тоже прошла, когда Прошка понял, что все хозяева одинаковы, и что Алексей Иваныч совсем не желает ему зла, а делает то же, что делали и с ним, когда он был таким же вертелом, как сейчас Прошка. Значит, виноваты те люди, которым нужны все эти аметисты, изумруды, тяжеловесы, — они и заставляли Прошку вертеть его колесо. Тут же воображение Прошки отказывалось работать, и он никак не мог представить себе этих бесчисленных врагов, сливавшихся для него в одном слове «господа». Для него ясно было одно, что они злые. Для чего им эти камни, без которых так легко обойтись? Если бы господа не покупали камней у Алексея Иваныча, ему пришлось бы бросить свою мастерскую, — и только всего. А вон барыня еще детей притащила... Действительно, есть чем полюбоваться... Прошка видел во сне эту барыню, у которой камни были и на руках, и на шее, и в ушах, и на голове. Он ненавидел ее и даже сказал:

— У! злая...

Ему казалось, что и глаза у барыни светились, как светит шлифованный камень, — зеленые, злые, как у кошки ночью.

Никто из мастеров никак не мог понять, зачем понадобился барыне именно Прошка. Алексей Иваныч и сам бы пришел да еще подсунул бы товару рубликов на десять; а что может понимать Прошка?

— Блажь господская, и больше ничего, — ворчал Ермилыч.

Алексей Иваныч тоже был недоволен. Во-первых, нельзя было Прошку пустить домашнему, — значит, расход на рубаху; а во-вторых, кто ее знает, барыню, что у нее на уме!

— Ты рыло-то вымой, — наказывал он Прошке еще с вечера. — Понимаешь? А то придешь к барыне черт чертом...

Ввиду этих приготовлений Прошка начал трусить. Он даже пробовал увильнуть, сославшись на то, что у него болит нога. Алексей Иваныч расвирепел и, показывая кулак, проговорил:

— Я тебе покажу, как ноги болят!..

Нужно сказать, что Алексей Иваныч никогда не дрался, как другие мастера, и очень редко бранился. Он обыкновенно со всеми соглашался, все обещал и ничего не исполнял.

Прошка должен был идти утром, когда барыня пила кофе. Алексей Иваныч осмотрел Прошку, как новобранца, и проговорил:

— А ты не робей, Прошка! И господа такие же люди, — из той же кожи сшиты, как и мы, грешные. Барыня заказала аметистов; а я тебе дам еще парочку бериллов, да тяжеловесов, да алемандинов. Понимаешь? Надо уметь показать товар...

Алексей Иваныч научил, сколько нужно запросить, сколько уступать и меньше чего не

отдавать. Барыня-то еще, может, пожалеет мальчонку и купит.

Когда Прошка уходил, Алексей Иваныч остановил его в самых дверях и прибавил:

— Смотри, лишнего не разбалтывай... Понимаешь? Ежели будет барыня выпытывать насчет еды и прочее... «Мы, мол, сударыня, серебряными ложками едим».

Прошке пришлось идти через весь город, и чем ближе он подходил к квартире барыни, тем ему делалось страшнее. Он и сам не знал, чего боялся, и все-таки боялся. Робость охватила его окончательно, когда он увидел двухэтажный большой каменный дом. В голове Прошки мелькнула даже мысль о бегстве. А что, если взять да и убежать в лес?

Скрепя сердце он пробрался в кухню и узнал, что барыня дома. Горничная в крахмальном белом переднике подозрительно оглядела его с ног до головы и нехотя пошла доложить «самой». Вместо нее прибежал в кухню Володя, одетый в коротенькую смешную курточку, коротенькие смешные штанишки, в чулки и башмаки.

— Пойдем, вертел!.. — приглашал он Прошку. — Мама ждет.

Они прошли по какому-то коридору, потом через столовую, а потом в детскую, где ждала сама барыня, одетая в широкое домашнее платье.

— Ну показывай, что принес! — проговорила она певучим, свежим голосом и, оглядев Прошку, прибавила: — Какой ты худенький! Настоящий цыпленок!

Прошка с серьезным видом достал товар и начал показывать камни. Он больше ничего уже не боялся. У барыни совсем был не злой вид. Расчет Алексея Иваныча оправдался: она рассмотрела камни и купила все без торга. Прошка внутренне торжествовал, что так ловко надул барыню рубля на три. Ему было только неловко, что она все время как-то особенно смотрела на него и улыбалась.

— Ты, наверно, хочешь есть? — проговорила она наконец. — Да?

Этот простой вопрос смутил Прошку, точно барыня угадала его тайные мысли. Когда он дожидался в кухне, то там так хорошо пахло жареным мясом и все время его преследовал этот аппетитный запах.

— Я не знаю, — по-детски ответил он.

— Он хочет, мама! — подхватил Володя. — Я сейчас сбегаю в кухню и скажу Матрене, чтобы она дала котлетку.

Володя был добрый мальчик, и это радовало маму. Ведь самое главное в человеке — доброе сердце. Прошка чувствовал себя смущенным, как попавшийся в ловушку зверек. Он молча разглядывал комнату и удивлялся, что бывают такие большие и светлые комнаты. У одной стены стоял шкаф с игрушками; кроме того, игрушки валялись на полу, стояли в углу, висели на стене. Тут были и детские ружья, и солдатская будка, и мельница, и лошадки, и домики, и книжки с картинками, — настоящий игрушечный магазин.

— Неужели все это твои игрушки? — спросил Прошка Володю.

— Мои. Но я уже не играю, потому что большой. А у тебя тоже есть игрушки?

Прошка засмеялся. У него игрушки! Какой смешной этот барчонок: решительно ничего не понимает!

Подававшая в столовую котлету горничная смотрела на Прошку с удивлением. Этак барыня скоро будет собирать в дом всех нищих и кормить котлетами. Прошка это чувствовал и смотрел на горничную серьезными глазами, Потом его затрудняла вилка и салфетка, особенно — последняя, Пока он ел, барыня просто и ласково расспрашивала его обо всем: давно ли он в мастерской, много ли приходится работать, как кормит рабочих хозяин, что он делает по праздникам, знает ли грамоту и т. д.

— Вот видишь, Володя, — говорила она сыну, — этот мальчик уже с семи лет зарабатывает себе кусок хлеба... Прошка, а ты хочешь учиться?

— Не знаю...

— Хочешь приходить по воскресеньям к нам? Я тебя выучу читать и писать. Я поговорю об этом с Алексеем Ивановичем сама.

Прошка был озадачен.

Домой он вернулся в старой курточке Володи, которая ему была даже широка в плечах, хотя Володя был моложе на целых два года. Барчук был такой рослый и закормленный. Рабочие посмеялись над ним, как смеялись над всеми, а хозяин похвалил:

— Молодец; Прошка! Когда в воскресенье пойдешь, я тебе еще дам товару...

IV

Прошка начал ходить учиться каждое воскресенье. В первое время, говоря правду, больше всего его привлекала возможность хорошенько поесть, как едят господа. А последнее было удивительно, удивительнее всего, что только Прошка видал. Мать Володи — ее звали Анной Ивановной — ужасно волновалась каждый раз, когда завтракали. Ей все казалось, что Володя мало ест и что он нездоров. Сначала Прошка думал, что Анна Ивановна шутит; но Анна Ивановна говорила совершенно серьезно:

— Мне кажется, Володя, что ты скоро решительно ничего не будешь есть. Посмотри на Прошку: вот какой аппетит нужно иметь.

— А отчего он такой худой, если ест много? — спросил Володя.

— Оттого, что он работает много, оттого, что в их мастерской буквально дышать нечем, и так далее.

Володя был настоящий барчонок. По-своему добрый, всегда веселый, увлекающийся и в достаточной мере бесхарактерный. Прошка рядом с ним казался существом другой породы. Анну Ивановну это поражало, когда дети были вместе. Детские глаза Прошки смотрели уже совсем не по-детски; потом он точно не умел улыбаться. В тощей фигурке Прошки точно был скрыт какой-то затаенный упрек. Анне Ивановне иногда делалось даже немного совестно, — ведь она пригласила в первый раз Прошку только для того, чтобы показать Володе, что дети его возраста работают с утра до ночи. Прошка должен был служить живым и наглядным примером; а Володя должен был исправиться, глядя на него, от припадков своей барской лени.

В этих воспитательных целях Анна Ивановна несколько раз под разными предлогами посылала

Володю в мастерскую Алексея Иваныча, чтобы он посмотрел на самом деле, как работает маленький Прошка. Володя отправлялся в мастерскую каждый раз с особенным удовольствием и возвращался домой весь испачканный наждаком. Результатом этих наглядных уроков было то, что Володя совершенно серьезно заявил матери:

— Мама, отдай меня в мастерскую. Я хочу быть вертелом, как Прошка...

— Володя, что ты говоришь? — ужаснулась Анна Ивановна. — Ты только подумай, что ты говоришь!

— Ах, мама, там ужасно весело!..

— Ты умер бы там через три дня с голода...

— А вот и нет! Я уже два раза обедал с рабочими. Какие вкусные щи из соленой рыбы, мама! А потом — просовая каша с зеленым маслом... горошница...

Анна Ивановна пришла в ужас. Ведь Володя просто мог отравиться. Она даже смерила температуру у Володи и успокоилась только тогда, когда он принял ванну и сам попросил есть.

— Мама, если б ты велела приготовить тертой редьки с квасом!..

Володя оказался неисправимым. Пример Прошки решительно ничему его не научил, кроме того, что он несколько дней старался устроить в своей детской гранильную мастерскую и натащил со двора всевозможных камней. Получилась почти совсем настоящая мастерская, только недоставало деревянного громадного колеса, которое вертел Прошка.

Перед рождеством Прошка перестал ходить учиться по воскресеньям. Анна Ивановна думала, что его не пускает Алексей Иваныч, и поехала сама узнать, в чем дело. Алексей Иваныч был дома и объяснил, что Прошка сам не желает идти.

— Почему так? — удивилась Анна Ивановна.

— А кто его знает! Нездоровится ему... Все кашляет по ночам.

Анна Ивановна отправилась в мастерскую и убедилась своими глазами, что Прошка болен. Глаза у него так и горели лихорадочным огнем; на бледных щеках выступал чахоточный румянец. Он отнесся к Анне Ивановне совершенно равнодушно.

— Ты что же это забыл нас совсем? — спрашивала она.

— Так...

— Тебе, может быть, не хочется учиться?

— Нет...

— Какое ему ученье, когда он на ладан дышит! — заметил Ермилыч.

— Разве можно такие вещи говорить при больном? — возмутилась Анна Ивановна.

— Все помрем, сударыня...

Это было бессердечно. Ведь Прошка был еще совсем ребенок и не понимал своего положения.

Под впечатлением этих соображений Анна Ивановна предложила Прошке переехать к ним, пока поправится; но Прошка отказался наотрез.

— Разве тебе у нас не нравится? Я устроила бы тебя в людской...

— Мне здесь лучше... — упрямо отвечал Прошка.

— Сударыня, ведь мы его тоже вот как жалеем! — объяснил Ермилыч. — Вот ему и не хочется уходить...

Анна Ивановна серьезно была огорчена, хотя вполне понимала, почему Прошка не захотел уходить из своей мастерской. У больных является страстная привязанность именно к своему углу. И большие и маленькие люди в этом случае совершенно одинаковы. Потом Анна Ивановна упрекала себя, что решительно ничего не сделала для Прошки, не сделала потому, что не умела. Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. А сколько детей умирает таким образом по разным мастерским, как мальчиков, так и девочек! Вернувшись домой, Анна Ивановна долго не могла успокоиться. Маленький вертел Прошка не выходил у нее из головы. Раньше Анна Ивановна очень любила драгоценные камни, а теперь дала себе слово никогда их не носить: каждый такой камень напоминал бы ей умирающего маленького Прошку.

А Прошка продолжал работать, несмотря даже на то, что Алексей Иваныч уговаривал его отдохнуть. Мальчику было совестно есть чужой хлеб даром... А колесо делалось с каждым днем точно все тяжелее и тяжелее... От натуги у Прошки начинала кружиться голова, и ему казалось, что вместе с колесом вертится вся мастерская. По ночам он видел во сне целые груды граненых драгоценных камней: розовых, зеленых, синих, желтых. Хуже всего было, когда эти камни радужным дождем сыпались на него и начинали давить маленькую больную грудь, а в голове начинало что-то тяжелое кружиться, точно там вертелось такое же деревянное колесо, у которого Прошка прожил всю свою маленькую жизнь.

Потом Прошка слег. Ему пристроили небольшую постельку тут же, в мастерской. Ермилыч ухаживал за ним почти с женской нежностью и постоянно говорил:

— Ты бы поел чего-нибудь, Прошка! Экой ты какой!..

Но Прошка ничего не хотел есть, даже когда горничная Анны Ивановны приносила ему котлеток и пирожного. Он относился ко всему безучастно, точно придавленный своей болезнью.

Через две недели его не стало. Анна Ивановна приехала вместе с Володей на похороны и плакала, плакала не об одном, а обо всех бедных детях, которым не могла и не умела помочь.

Старый воробей

I

— Хозяин что-то замышляет, — заметил первым Петух, гордо выпячивая атласную грудь.

— А я знаю, что! — чирикнул с вербы старый Воробей. — Ну-ка, догадайся, умная голова!.. Нет, лучше и не думай: все равно ничего не придумаешь.

Петух сделал вид, что не понял обидных слов, и, чтобы показать свое презрение дерзкому хвастунишке, громко захлопал крыльями, вытянув шею, и, страшно раскрыв клюв,

пронзительно заорал свое единственное ку-ку-реку!

— Ах, глупый горлан!.. — смеялся старый Воробей, вздрагивая своим крошечным тельцем. — Сейчас видно, что ничего не понимаешь. Чили-чили!

А хозяин маленького домика, стоявшего на окраине города, действительно был занят необыкновенным делом. Во-первых, он вынес из комнаты небольшой ящик с железной кровелькой. Потом достал из сарая длинный шест и начал прибивать к нему гвоздями принесенный ящик. Мальчик лет пяти внимательно наблюдал за каждым его движением.

— Отличная штука будет, Сережка! — весело говорил отец, вбивая последний гвоздь. — Настоящий дворец...

— А где скворцы, тятя? — спросил мальчик.

— А скворцы прилетят сами...

— Ага, скворечник!.. — гаркнул Петух, прислушивавшийся к разговору. — Я так и знал!

— Ах, глупый, глупый! — засмеялся над ним старый Воробей. — Это мне квартиру готовят... да! Эй, старуха, смотри, какой нам домик сделали.

Воробиха была гораздо серьезнее мужа и отнеслась с недоверием к этим словам. Да и хозяин сам говорит о скворцах, значит, будет скворечник. Впрочем, спорить она не желала, потому что это было бы бесполезно: разве старого Воробья кто-нибудь переспорит?.. Он будет повторять свое без конца, а она совсем не хотела ссориться. Да и зачем ссориться, когда весеннее солнышко так ласково светит? Везде бегут весенние ручейки, и почки на березах уже совсем набухли и покраснели: вот-вот раскроются и выпустят каждая по зеленому листочку, такому мягкому, светленькому, душистому и точно покрытому лаком. Слава богу, зима прошла, и теперь всем наступает великая радость. Конечно, старый Воробей страшный забияка и частенько обижает свою старуху; но в такие светлые весенние дни забываются даже семейные неприятности.

— Что же ты молчишь, моя старушка? — приставал к ней старый Воробей. — Будет нам жить под крышей: и темно, и ветром продувает, и вообще неудобно. Признаться сказать, я давно думаю переменить квартиру, да все как-то было некогда. Хорошо, что хозяин сам догадался... Вот у кур есть курятник, у лошадей — стойло, у собаки — конура, а только я один должен был скитаться где попало. Совестно стало хозяину, вот он и приготовил мне домишко... Отлично заживем, старушонка!

Весь двор был занят хозяйской работой, из конюшни выглядывала лошадиная голова, из конуры вылез мохнатый Волчок, и даже показался серый кот Васька, целые дни лежавший где-нибудь на солнышке. Все следили, что будет дальше.

— Эй, старый плут... — кричал старый Воробей, завидев своего главного врага, кота Ваську. — Ты зачем пожаловал сюда, дармоед? Теперь, брат, тебе меня не достать... да! Лови своих мышей да посматривай, как я заживу в своем домике. Не все мне по морозу прыгать на одной ножке, а тебе лежать на печке...

— Что же, пожалуй, и так... — согласился Петух, тоже недолюбливавший кота Ваську. — Положим, что старый Воробей и хвастун, и забияка, и вор, но он все-таки не таскает цыплят.

Кончив свою работу, хозяин поднял шест со скворечником и прикрепил его к самому крепкому

столбу ограды. Скворечник был отличный: доски были пригнаны плотно, наверху — железная крышка, а сбоку прикреплена сухая березовая ветка, на которой так удобно было отдыхать. У маленького круглого оконца, через которое можно было влететь в скворечник, устроена была деревянная полочка, — тоже недурно отдохнуть.

— Живо, старуха, собирайся! — крикнул старый Воробей. — Ведь есть нахалы, которые сейчас готовы захватить чужой дом... Те же скворцы прилетят.

— А если нас оттуда выгонят? — заметила Воробьяха. — Старое свое гнездо разорим, кто-нибудь его займет, а сами и останемся ни при чем... Да и хозяин про скворцов говорил.

— Ах, глупая: это он пошутил.

Не успел хозяин отойти от скворечника, чтобы полюбоваться своей работой издали, как старый Воробей уже был на железной кровельке. Весело чиликнув, он быстро юркнул в оконце, только хвостик мелькнул.

— Эге, да тут совсем отлично! — думал вслух старый Воробей, запутавшись в хлопьях кудели. — То-то моей старухе тепло будет, да и ребятишкам тоже... Не дует ниоткуда, дождем не мочит, и, главное, сам хозяин для меня устроил. Недурно... А зимой здесь — умирать не надо.

Выбравшись на самую верхушку скворечника, старый Воробей весело распушил все перышки, повернулся на все стороны и крикнул:

— Это я, братцы! Милости просим к нам на новоселье.

— Ах, разбойник! — обругал его хозяин снизу. — Уж успел забраться. погоди, брат, вот прилетят скворцы, они тебе зададут.

Маленький Сережка был ужасно огорчен, что в скворечнике поселился самый обыкновенный воробей.

— Ты каждое утро смотри, — учил его отец. — На днях должны прилететь наши скворцы.

— Будет шутить, хозяин! — кричал старый Воробей сверху. — Меня-то не проведешь... А скворцам мы и сами зададим жару-пару!..

II

Старый Воробей расположился в скворечнике по-домашнему, как и следует семейной птице. Из старого гнезда был перетащен пух и все, что только можно было утащить.

— А теперь пусть в нем живут племянники, — решил старый Воробей со свойственным ему великодушием. — Я всегда готов отдать родственникам последнее... Пусть живут, да меня, старика, добром поминают.

— Тоже расщедрился! — смеялись другие воробьи. — Подарил племянникам какую-то щель... Вот уж посмотрим, как самого погонят из скворечника, так куда тогда денется?

Все это говорилось, конечно, из зависти, и старый Воробей только посмеивался: пусть их поговорят. О, это был опытный, старый Воробей, выдавший виды... Сидя в своем теплом гнезде, теперь он с удовольствием вспоминал о разных неудачах своей жизни. Раз чуть не сгорел,

забравшись погреться в трубу, в другой — чуть не утонул, потом замерзал, потом совсем было попался в бархатные лапки старого плута Васьки и чуть живой вырвался, — э, да мало ли невзгод и горя он перенес!..

— Пора и отдохнуть, — рассуждал он громко, взобравшись на крышу своего нового домика. — Я — заслуженный Воробей... Молодые-то пусть поучатся, как нужно на свете жить.

Как ни смешно было нахальство старого Воробья, но к нему все привыкли и даже стали верить, что действительно скворечник поставлен именно для старого Воробья. Теперь все ждали только того решительного дня, когда прилетят скворцы, — что-то тогда будет делать старик, забравшийся в чужое гнездо?

— Что такое скворцы? — рассуждал вслух старый Воробей. — Глупая птица, которая неизвестно зачем перелетает с одного места на другое. Вот наш Петух тоже не умен, но зато и сидит дома; а потом из него сварят суп... Я хочу сказать, что глупый Петух хоть на суп годен, а скворцы — никуда: прилетят, как шальные, вертятся, стрекочут... Тьфу! Смотреть неприятно.

— Скворцы поют... — заметил Волчок, которому порядочно-таки надоело слушать эту воробьиную болтовню. — А ты только умеешь воровать.

— По-ют? Это называется петь? — изумился старый Воробей. — Ха-ха... Нет уж извините, господа, про себя говорить нехорошо, а между тем я должен сказать, что если кто действительно поет, так это я... да! И я постоянно пою, с утра до ночи, пою целую жизнь... Вот послушайте: чили-чили-чилик!.. Хорошо? не правда ли?.. Меня все слушают...

— Будет тебе, старый шут!

Скворечник оказался очень хорошей квартирой. Главное, все видно сверху. Только вынесут корм курам, а старый Воробей уже поспел раньше всех. Сам наестся и своей Воробихе зернышко снесет. Он даже успевал украсть малую толику и у Волчка, пока тот вылезал из своей конуры. И везде так. Шныряет под ногами у кур, заберется в кормушку к лошади, даже в комнаты забирался не раз, — прожорливости и нахальству старого Воробья не было границ. Мало этого. Он успевал побывать и на чужих дворах и там урвать что-нибудь из съестного. Везде лезет, везде ему было дело, и никого знать не хочет.

Наступил март. Дни стояли теплые, светлые. Снег везде почернел, присел, пропитался водой и сделался таким рыхлым, точно его изъели черви. Ветви у берез покраснели и набухли от приливавших соков. Весна подступала все больше. Иногда пахнет таким теплым ветерком, что даже у старого Воробья захолонет сердце. Жутко-хорошо в такую пору.

Маленький Сережка, как только просыпался утром, сейчас же лез к окну посмотреть, не прилетели ли скворцы. Но день проходил за днем, а скворцов все не было.

— Тятя, на скворечнике все этот воробей сидит, — жаловался Сережка отцу.

— Погоди, отойдет ему честь. Грачи вчера прилетели. Значит, скоро будут и наши скворцы.

Действительно, соседний барский сад был усеян черными точками, точно живой сеткой: это были первые весенние гости, прилетевшие с далекого теплого юга. Они поднимали такой гвалт, что слышно было за несколько улиц, — настоящая ярмарка. Галдят, летают, осматривают старые гнезда и кричат без конца.

— Ну, старуха, теперь держись! — шептал старый Воробей своей Воробихе еще с вечера. —

Утром налетят скворцы... Я им задам, вот увидишь. Я ведь никого не трогаю, и меня не тронь. Знай всяк сверчок свой шесток!

Целую ночь не спал старик и все сторожил. Но особенного ничего не случилось. Перед утром пролетела небольшая стайка зябликов. Птички смирные: отдохнули, посидели на березах и полетели дальше. Они торопились в лес. За ними показались трясогузки, — эти еще скромнее. Ходят по дорогам, хвостиками покачивают и никого не трогают. Обе — лесные птички, и старый Воробей был даже рад их видеть... Нашлись прошлогодние знакомые.

— Что, братцы, далеко летели?

— Ах, как далеко!.. А здесь холодно было зимой?

— Ах, как холодно!..

— Ну, прощай, Воробушко! Нам некогда.

Утро было такое холодное, а в скворечнике так тепло, да и Воробьях спит сладко-сладко.

Чуть-чуть прикорнул старый Воробей; кажется, не успел и глаз сомкнуть, как на скворечник налетела первая стайка скворцов. Быстро они летели, так что воздух свистел. Облепили скворечник и подняли такой гам, что старый Воробей даже испугался.

— Эй, ты, вылезай! — кричал Скворец, просовывая голову в оконце. — Ну, ну, пошевеливайся поскорей!..

— А ты кто такой?.. Я здесь хозяин... Проваливай дальше, а то ведь я шутить не люблю...

— Ты еще разговариваешь, нахал?..

Что произошло дальше, страшно и рассказывать: разведчик Скворец очутился в скворечнике, схватил Воробьяху за шиворот своим длинным, как шило, клювом и вытолкнул в окно.

— Батюшки, караул!.. — благим матом орал старый Воробей, забившись в угол и отчаянно защищаясь. — Грабят... Караул!.. Ой, батюшки, убили...

Как он ни упирался, как ни дрался, как ни орал, а в конце концов с позором был вытолкнут из скворечника.

III

Это было ужасное утро. В первую минуту старый Воробей даже не мог сообразить хорошенько, как это случилось... Нет, это возмутительно, как вы хотите! Но и с этим можно было помириться: ну, забрался в чужой скворечник, ну, вытолкали, — только и всего. Если бы старому Воробью такое же шило вместо клюва дать, как у Скворца, так он всякого бы вытолкал. Главное — стыдно... Да. Вот уж это скверно, когда захвастаешься, накричишь, наболтаешь, — ах, как скверно!

— Напугал же ты скворцов! — кричал ему со двора Петух. — Я хоть и в суп попаду, да у меня свое гнездо есть, а ты попрыгай на одной ножке... Трещотка проклятая!.. Так тебе и надо...

— А ты чему обрадовался? — ругался старый Воробей. — погоди, я тебе покажу... Я сам бросил скворечник: велик он мне, да и дует из щелей.

Бедная Воробьяха сидела на крыше такая жалкая и убитая, и это еще больше разозлило старого Воробья. Он подлетел к ней и клюнул ее в голову.

— Что ты сидишь? Только меня срамишь... Возьмем старое гнездо, и делу конец. А со скворцами я еще рассчитаюсь...

Но племянники, устроившись в гнезде, не хотели его отдавать ни за что. Подняли крик, шум и в заключение вытолкнули старого дядюшку. Это было похуже скворцов: свои же родные в шею гонят, а уж он ли, кажется, не старался для них. Вот и делай добро кому-нибудь... Воробьяху прибил ни за что, гнездо потерял, а сам на крыше остался с семейством: как раз налетит ястреб и разорвет в клочки. Пригорюнился старый Воробей, присел на конек крыши отдохнуть и тяжело вздохнул. Эх, тяжело жить на свете серьезной птице!

— Как же мы теперь жить будем? — жалобно повторяла Воробьяха. — У всех есть свои гнезда... Скоро детей будут выводить, а мы так, видно, на крыше и останемся.

— Погоди, старуха, устроимся.

А главная обида была еще впереди. Выбежал на двор маленький Сережка, захлопал ручонками от радости, что прилетели скворцы, и не мог на них налюбоваться. Отец тоже любовался и говорил:

— Посмотри, какие они красивые: точно шелковые. А как заливаются-поют!.. Веселенькая птичка...

— А где же воробей, тятя, который жил в скворечнике? Да вон на крыше сидит... У, как смешно нахохлился!..

— Да он всегда какой-то встрепанный... Что, брат, не любишь? — обратился отец к Воробью и весело засмеялся. — Ну, вперед наука: не забирайся куда не следует. Не для тебя скворечник строили.

Даже куры и те смеялись теперь над несчастным старым Воробьем. Вот до чего дожил старик... Он даже заплакал с горя, а потом пришел в себя и ободрился.

— Над чем вы смеетесь? — гордо спросил он всех. — Ну, над чем?.. Сделал ошибку, это правда, а все-таки я умнее вас... А главное то: я вольная птица. Да... И живу, чем бог послал, а кланяться в люди не пойду. Куда бы вы все делись, если бы хозяин вас не кормил и не поил? И ты, Волчок, издох бы с голода, и ты, глупая птица Петух, — тоже, и лошадь, и корова; а я сам прокормлю свою голову. Да... Вот я какой!.. И теперь поправлю свою беду, дайте срок... А те зернышки, которые я собираю иногда на дворе около вас, тоже заработаны мною. Кто ловит мошек? Кто выкапывает червячков, ищет гусениц, всяких козявок? Да все я же, я...

— Знаем мы, как ты червячков ищешь, — заметил Петух, подмигнув скворцам. — Вот в огородах гряды вскопают, насадят гороху и бобов, — воробьи и налетят. Все разроют, а горох и бобы съедят. Воровством живешь, Воробушко, признайся.

— Воровством? Я?.. — возмутился старый Воробей. — Да я — первый друг человека... Мы всегда вместе, как и следует друзьям: где он, — там и я. Да... И притом я — совершенно бескорыстный друг... Разве наш хозяин когда-нибудь бросил мне горсточку овса?.. Да мне и не нужно... Конечно, обидно, когда прилетят какие-то вертопрахи и им начинают оказывать всякий почет. Это, наконец, просто несправедливо... А вы даже этого не понимаете, потому что один — целую жизнь в оглоблях, другой — на цепи, третий в курятнике сидит... Я — вольная

птица и живу здесь по собственному желанию.

Много говорил старый Воробей, возмущенный коварством своего друга — человека. А потом вдруг исчез... Нет старого Воробья день, нет два, нет три дня.

— Он, вероятно, издох с горя, — решил Петух. — Самая вздорная птица, если разобраться.

Прошла целая неделя. Однажды утром старый Воробей опять появился на крыше — такой веселый и довольный.

— Это я, братцы, — прочиликал он, принимая гордый вид. — Как поживаете?

— А, ты еще жив, старичок?

— Слава богу... Теперь на новой квартире поселился. Отличная квартира... Эту уж для меня хозяин устроил.

— Может быть, опять врешь?..

— Ага, хотите, чтобы я указал ее вам? Нет, шалишь, теперь уж меня не проведешь... Пока прощайте!..

Старый Воробей не врал. Он действительно устроился. На гряде в огороде стояло старое чучело. На палке болтались какие-то лохмотья, а сверху надета была старая большая шляпа, — в ней старый Воробей и устроил себе гнездо. Здесь уж никто его не тронет, потому что не догадается никто, да и побоятся страшного чучела. Но эта затея кончилась очень печально. Воробьяха высидела маленьких птенчиков в шляпе, а тут дунул вихрь и унес шляпу вместе с воробьиным гнездом. Старый Воробей улетал в это время по своим делам, а когда вернулся домой, то нашел только мертвых птенчиков и убивавшуюся с горя Воробьяху. Впрочем, она недолго пережила своих деток. Перестала есть, худела и, нахохлившись, неподвижно сидела где-нибудь на ветке целые дни. Так она и умерла с горя... Ах, как тосковал по ней старый Воробей, как убивался и плакал...

Наступила поздняя осень. Все перелетные птицы уже отправились на теплый юг. Старый Воробей один поселился в пустом скворечнике. Он скверно себя чувствовал и почти совсем не чирикал. Когда выпал первый снег и маленький Сережка выбежал на двор с саночками, то первое, что он увидел на ослепительно белом снегу, был маленький трупик старого Воробья. Бедняга замерз.

— А ведь жаль его, — бормотал Петух глубокомысленно. — Как будто и недостает чего-то... Бывало, все чирикает, везде вертится, ко всем лезет! Даже скучно стало на дворе без старого Воробья.

Богач и Еремка

I

— Еремка, сегодня будет поживать... — сказал старый Богач, прислушиваясь к завывавшему в трубе ветру. — Вон какая погода разыгралась.

Еремкой звали собаку, потому что она когда-то жила у охотника Еремы. Какой она была породы, — трудно сказать, хотя на обыкновенную деревенскую дворняжку и не походила. Высока на ногах, лобаста, морда острая, с большими глазами. Покойный Ерема не любил ее за

то, что у нее одно ухо «торчало пнем», а другое висело, и потом за то, что хвост у нее был какой-то совсем необыкновенный — длинный, пушистый и болтавшийся между ног, как у волка. К Богачу она попала еще щенком и потом оказалась необыкновенно умной.

— Ну, твое счастье, — посмеивался Еремка. — И шерсть у нее хороша, точно вот сейчас из лужи вылезла. Тоже и пес уродился... Уж, видно, нам на роду написано вместе жить. Два сапога — пара.

Охотник Ерема до известной степени был прав. Действительно, существовало какое-то неуловимое сходство между Богачом и Еремкой. Богач был высокого роста, сутуловат, с большой головой и длинными руками и весь какой-то серый. Он всю жизнь прожил бобылем. В молодости был деревенским пастухом, а потом сделался сторожем. Последнее занятие ему нравилось больше всего. Летом и зимой он караулил сады и огороды. Чего же лучше: своя избушка, где всегда тепло; сыт, одет, и еще кое-какая прибыль наворачивалась. Богач умел починять ведра, ушаты, кадочки, мастерил бабам коромысла, плел корзины и лапти, вырезывал из дерева ребятам игрушки. Одним словом, человек без работы не оставался и лучшего ничего не желал. Богачом его почему-то называли еще с детства, и эта кличка осталась на всю жизнь.

Снежная буря разыгрывалась. Несколько дней уже стояли морозцы, а вчера оттепело и начал падать мягкий снежок, который у охотников называется «порошей». Начинаящую промерзать землю порошило молодым снежком. Поднявшийся к ночи ветер начал заметать канавы, ямы, ложбинки.

— Ну, Еремка, будет нам сегодня с тобой пожива... — повторил Богач, поглядывая в маленькое оконце своей сторожки.

Собака лежала на полу, положив голову между передних лап, и в ответ слегка вильнула хвостом. Она понимала каждое слово своего хозяина и не говорила только потому, что не умела говорить.

Было уже часов девять вечера. Ветер то стихал, то поднимался с новой силой. Богач не торопясь начал одеваться. В такую погоду неприятно выходить из теплой сторожки; но ничего не поделаешь, если уж такая служба. Богач считал себя чем-то вроде чиновника над всеми зверями, птицами и насекомыми, нападавшими на сады и огороды. Он воевал с капустным червем, с разными гусеницами, портившими фруктовые деревья, с воробьями, галками, скворцами, дроздами-рябинниками, с полевыми мышами, кротами и зайцами. И земля и воздух были наполнены врагами, хотя большинство на зиму умирало или засыпало по своим норам и логовищам. Оставался только один враг, с которым приходилось Богачу воевать главным образом именно зимой. Это были зайцы...

— Как поглядеть — так один страх в ём, в зайце, — рассуждал Богач, продолжая одеваться. — А самый вредный зверь... Так, Еремка? И хитрый-прехитрый... А погодка-то как разгулялась: так и метет. Это ему, косому, самое первое удовольствие...

Нахлобучив шапку из заячьего меха, Богач взял длинную палку и сунул за голенище валенок на всякий случай нож. Еремка сильно потягивался и зевал. Ему тоже не хотелось идти из теплой избушки на холод.

Сторожка Богача стояла в углу громадного фруктового сада. Сейчас за садом начинался крутой спуск к реке, а за рекой синел небольшой лесок, где, главным образом, гнездились зайцы. Зимой зайцам нечего было есть, и они перебежали через реку к селению. Самым любимым местом для них были гумна, окруженные хлебными кладами. Здесь они кормились,

подбирая упавшие со стогов колосья, а иногда забирались в самые клады, где для них было уж настоящее раздолье, хотя и не без опасности. Но всего больше нравилось зайцам полакомиться в фруктовых садах молодыми саженцами и побегами яблонь, слив и вишен. Ведь у них такая нежная и вкусная кора, не то что на осине или других деревьях. В один удачный набег зайцы портили иногда целый сад, несмотря на все предосторожности. Только один Богач умел с ними справляться, потому что отлично знал все их повадки и хитрости. Много помогал старику Еремка, издали чуявший врага. Кажется, уж на что тихо крадется заяц по мягкому снегу в своих валенках, а Еремка лежит у себя в избушке и слышит. Вдвоем Богач и Еремка много ловили каждую зиму зайцев. Старик устраивал на них западни, капканы и разные хитрые петли, а Еремка брал прямо зубом.

Выйдя из избушки, Богач только покачал головой. Очень уж разыгралась погода и засыпала снегом все его ловушки.

— Видно, придется тебе, Еремка, идти под гору, — говорил Богач смотревшей на него собаке. — Да, под гору... А я на тебя погоню зайцев. Понял? То-то... Я вот обойду по загуменьям да и шугну их на тебя.

Еремка в ответ только слабо взвизгнул. Ловить зайцев под горой было для него самым большим удовольствием. Дело происходило так. Зайцы, чтобы попасть на гумна, пробегали из-за реки и поднимались на гору. Обратный путь для них уже шел под гору. А известно, что заяц лихо бежит в гору, а под гору, в случае опасности, скатывается кубарем. Еремка прятался под горой и ловил зайца именно в то время, когда заяц ничего не видел.

— Любишь зайчика-кубаря поймать? — дразнил собаку Богач. — Ну, ступай...

Еремка повилял хвостом и медленно пошел к селению, чтобы оттуда уже спуститься под гору. Умная собака не хотела пересекать заячью тропу. Зайцы отлично понимали, что значат следы собачьих лап на их дороге.

— Экая погодка-то, подумаешь! — ворчал Богач, шагая по снегу в противоположную сторону, чтобы обойти гумна.

Ветер так и гулял, разметая кругом облака крутившегося снега. Даже дыхание захватывало. По пути Богач осмотрел несколько занесенных снегом ловушек и настороженных петель. Снег засыпал все его хитрости.

— Ишь ты, какая причина вышла, — ворчал старик, с трудом вытаскивая из снега ноги. — В такую непогоду и зайцы по своим логовищам лежат... Только вот голод-то не тетка: день полежит, другой полежит, а на третий и пойдет промыслять себе пропитание. Он хоть и заяц, а брюхо-то — не зеркало...

Богач прошел половину дороги и страшно устал. Даже в испарину бросило. Ежели бы не Еремка, который будет ждать его под горой, старик вернулся бы в свою избушку. Ну их, зайцев, куда не денутся. Можно и в другой раз охоту устроить. Вот только перед Еремкой совестно: обмани его один раз, а в другой он и сам не пойдет. Пес умный и прегордый, хоть и пес. Как-то Богач побил его совсем напрасно, так тот потом едва помирился. Подождет свой волчий хвост, глазами моргает и как будто ничего не понимает, что ему русским языком говорят... Хоть прощения у него проси, — вот какой прегордый пес. А теперь он уже залег под горкой и ждет зайцев.

Обойдя гумна, Богач начал «гон» зайцев. Он подходил к гумну и стучал палкой по столбам, хлопал в ладоши и как-то особенно фыркал, точно загнанная лошадь. В первых двух гумнах

никого не было, а из третьего быстро мелькнули две заячьих тени.

— Ага, косая команда, не любишь!.. — торжествовал старик, продолжая свой обход.

И удивительное дело, — каждый раз одно и то же: уж, кажется, сколько зайцев придавил он с Еремкой, а все та же заячья ухватка. Точно и зайцы-то одни и те же. Ну, побегил он, заяц, в поле, — и конец. Ищи его, как ветра в поле. Ан нет, он норовит непременно к себе домой, за реку, а там, под горой, его уж ждут Еремкины зубы...

Богач обошел гумна и начал спускаться с горы к реке. Его удивило, что Еремка всегда выбегал к нему навстречу, а теперь стоял как-то виновато на одном месте и, очевидно, поджидал его.

— Еремка, да что ты делаешь?

Собака слабо взвизгнула. Перед ней на снегу лежал на спине молоденький зайчик и бессильно болтал лапками.

— Бери его!.. Кусь!.. — закричал Богач.

Еремка не двигался. Подбежав близко, Богач понял, в чем дело: молоденький зайчонок лежал с перешибленной передней лапкой. Богач остановился, снял шапку и проговорил:

— Вот так штука, Еремка!..

II

— Ну, и оказия!.. — удивлялся Богач, нагибаясь, чтобы получше рассмотреть беззащитного зайчишку. — Эк тебя угораздило, братец ты мой!.. а? И совсем еще молоденький!..

Заяц лежал на спинке и, по-видимому, оставил всякую мысль о спасении. Богач ощупал перешибленную ногу и покачал головой.

— Вот оказия-то... Еремка, что мы с ним будем делать-то? Прирезать, што ли, чтобы понапрасну не маялся...

Но и прирезать было как-то жаль. Уж если Еремка не взял зубом калеку, посовестился, так ему, Богачу, и подавно совестно беззащитную тварь убивать. Другое дело, если бы он в ловушку попал, а то больной зайчишка, — и только.

Еремка смотрел на хозяина и вопросительно взвизгивал. Дескать, надо что-нибудь делать...

— Эге, мы вот что с ним сделаем, Еремка: возьмем его к себе в избушку... Куда он, хромой-то, денется? Первый волк его съест...

Богач взял зайца на руки и пошел в гору, Еремка шел за ним, опустив хвост.

— Вот тебе и добыча... — ворчал старик. — Откроем с Еремкой заячий лазарет... Ах ты, оказия!..

Когда пришли в избу, Богач положил зайца на лавку и сделал перевязку сломанной лапки. Он, когда был пастухом, научился делать такие перевязки ягнятам. Еремка внимательно следил за работой хозяина, несколько раз подходил к зайцу, обнюхивал его и отходил.

— А ты его не пугай... — объяснял ему Богач. — Вот привыкнет, тогда и обнюхивай...

Больной зайчик лежал неподвижно, точно человек, который приготовился к смерти. Он был такой беленький и чистенький, только кончики ушей точно были выкрашены черной краской.

— А ведь надо его покормить, беднягу... — думал вслух Богач.

Но заяц упорно отказывался есть и пить.

— Это он со страху, — объяснял Богач. — Ужо завтра добуду ему свежей морковки да молочка.

В углу под лавкой Богач устроил зайцу из разного тряпья мягкое и теплое гнездо и перенес его туда.

— Ты у меня, Еремка, смотри, не пугай его... — уговаривал он собаку, грозя пальцем. — Понимаешь: хворый он...

Еремка вместо ответа подошел к зайцу и лизнул его.

— Ну, вот так, Еремка... Значит, не будешь обижать? Так, так... Ведь ты у меня умный пес, только вот сказать не умеешь. С нас будет и здоровых зайцев.

Ночью Богачу плохо спалось. Он все прислушивался, не крадется ли к зайцу Еремка. Хоть и умный пес, а все-таки пес, и полагаться на него нельзя. Как раз сцапает...

«Ах ты, оказия... — думал Богач, ворочаясь с боку на бок. — Уж, кажется, достаточно нагляделся на зайцев... Не одну сотню их переколотил, а вот этого жаль. Совсем ведь глупый еще... несмышлениш...»

И во сне Богач видел загубленных им зайцев. Он даже просыпался и прислушивался к завывавшей буре. Ему казалось, что к избушке сбежались все убитые им зайцы, лопочут, по снегу кувыркаются, стучат в дверь передними лапками... Старик не утерпел, слез с печи и выглянул из избушки. Никого нет, а только ветер гуляет по полю и гудит на все голоса.

— Ах ты, оказия!.. — ворчал старик, забираясь на теплую печку.

Просыпался он, по-стариковски, ранним утром, затоплял печь и приставлял к огню какое-нибудь варево — похлебку, старых щец, кашку-размазню. Сегодня было как всегда. Заяц лежал в своем уголке неподвижно, точно мертвый, и не притронулся к еде, как его Богач ни угощал.

— Ишь ты, какой важный барин, — корил его старик. — А ты вот попробуй кашки гречушной — лапка-то и срастется. Право, глупый... У меня кашу-то и Еремка вот как уплетает, за ушами пищит.

Богач прибрал свою избушку, закусил и пошел в деревню.

— Ты у меня смотри, Еремка, — наказывал он Еремке. — Я-то скоро вернусь, а ты зайца не пугай...

Пока старик ходил, Еремка не тронул зайца, а только съел у него все угощение — корочки черного хлеба, кашу и молоко. В благодарность он лизнул зайца прямо в мордочку и принес в награду из своего угла старую обглоданную кость. Еремка всегда голодал, даже когда ему случалось съесть какого-нибудь зайчонка. Когда Богач вернулся, он только покачал головой: какой хитрый зайчишка: когда угощают, так и не смотрит, а когда ушли, — так все дотла поел.

— Ну и лукавец! — удивлялся старик. — А я тебе гостинца принес, косому плуту...

Он достал из-за пазухи несколько морковок, пару кочерыжек, репку и свеклу. Еремка лежал на своем месте как ни в чем не бывало, но когда он облизнулся, вспомнив съеденное у зайца угощение, Богач понял его коварство и принялся его журить:

— И не стыдно тебе, старому плуту... а?! Что, не едал ты каши? Ах, ненасытная утроба....

Когда старик увидел валявшуюся перед зайцем кость, он не мог удержаться от смеха. Вот так Еремка, тоже сумел угостить... Да не хитрый ли плутище!..

Заяц отдохнул за ночь и перестал бояться. Когда Богач дал ему морковку, он с жадностью ее съел.

— Эге, брат, вот так-то лучше будет!.. Это, видно, не Еремкина голая кость... Будет чваниться-то. Ну-ка, еще репку попробуй.

И репка была съедена с тем же аппетитом.

— Да ты у меня совсем молодец!.. — хвалил старик.

Когда совсем рассветало, в дверь послышался стук, и тоненький детский голосок проговорил:

— Дедушка, отвори... Смерть как замерзла!..

Богач отворил тяжелую дверь и впустил в избушку девочку лет семи. Она была в громадных валенках, в материнской кацавейке и закутана рваным платком.

— Ах, это ты, Ксюша... Здравствуй, птаха.

— Мамка послала тебе молочка... не тебе, а зайцу...

— Спасибо, красавица...

Он взял из покрасневших на морозе детских ручонек небольшую крынку молока и поставил ее бережно на стол.

— Ну, вот мы и с праздником... А ты, Ксюша, погрейся. Замерзла?

— Студено...

— Давай раздевайся. Гостя будешь... Зайчика пришла посмотреть?

— А то как же...

— Неужто не видала!

— Как не видать... Только я-то видела летних зайцев, когда они серые, а этот совсем белый у тебя.

Ксюша разделась. Это была самая обыкновенная деревенская белоголовая девочка, загорелая, с тоненькой шейкой, тоненькой косичкой и тоненькими ручками и ножками. Мать одевала ее по-старинному — в сарафан. Оно и удобно и дешевле. Чтобы согреться, Ксюша попрыгала на одной ноге, грела дыханием оочевенные ручонки и только потом подошла к зайчику.

— Ах, какой хорошенький зайчик, дедушка... Беленький весь, а только ушки точно оторочены

черным.

— Это уж по зиме все такие зайцы, беляки, бывают...

Девочка села около зайчика и погладила его по спинке.

— А что у него ножка завязана тряпочкой, дедушка?

— Сломана лапка, вот я и завязал ее, чтобы все косточки срослись.

— Дедушка, а ему больно было?

— Известно, больно...

— Дедушка, а заживет лапка?

— Заживет, ежели он будет смирно лежать... Да он и лежит, не ворохнется. Значит, умный!..

— Дедушка, а как его зовут?

— Зайца-то? Ну, заяц и есть заяц, — вот и все название.

— Дедушка, то другие зайцы, которые здоровые в поле бегают, а этот хроменький... Вон у нас кошку Машкой зовут.

Богач задумался и с удивлением посмотрел на Ксюшу. Ведь совсем глупая девчонка, а ведь правду сказала.

— Ишь ты, какая птаха... — думал он вслух. — И в самом деле, надо как-нибудь назвать, а то зайцев-то много... Ну, Ксюша, так как его мы назовем... а?

— Черное Ушко...

— Верно!.. Ах ты, умница... Значит, ты ему будешь в том роде, как крестная...

Весть о хромом зайце успела облететь всю деревню, и скоро около избушки Богача собралась целая толпа любопытных деревенских ребят.

— Дедушка, покажи зайчика! — просили.

Богач даже рассердился. Всех пустить зараз нельзя — не поместятся в избе, а по одному пускать — выстудят всю избу.

Старик вышел на крылечко и сказал:

— Невозможно мне показывать вам зайца, потому он хворый... Вот поправится, — тогда и приходите, а теперь ступайте домой.

III

Через две недели Черное Ушко совсем выздоровел. Молодые косточки скоро срастаются. Он уже никого не боялся и весело прыгал по всей избе. Особенно ему хотелось вырваться на волю, и он сторожил каждый раз, когда открывалась дверь.

— Нет, брат, мы тебя не пустим, — говорил ему Богач. — Чего тебе на холоде мерзнуть да

голодать?.. Живи с нами, а весной — с богом, ступай в поле. Только нам с Еремкой не попадайся...

Еремка, очевидно, думал то же самое. Он ложился у самой двери, и когда Черное Ушко хотел перепрыгнуть через него, скалил свои белые зубы и рычал. Впрочем, заяц его совсем не боялся и даже заигрывал с ним. Богач смеялся до слез над ними. Еремка растянется на полу во весь рост, закроет глаза, будто спит, а Черное Ушко начинает прыгать через него. Увлечшись этой игрой, заяц иногда стучался головой о лавку и начинал по-заячьи плакать, как плачут на охоте смертельно раненные зайцы.

— И точно младенец, — удивлялся Богач. — По-ребячьи и плачет... Эй ты, Черное Ухо, ежели тебе своей головы не жаль, так пожалей хоть лавку. Она не виновата...

Эти увещания плохо действовали, и заяц не унимался. Еремка тоже увлекался игрой и начинал гоняться по избе за зайцем, раскрыв пасть и высунув язык. Но заяц ловко увертывался от него.

— Что, брат Еремка, не можешь его догнать? — подсмеивался над собакой старик. — Где тебе, старому... Только лапы понапрасну отобьешь.

Деревенские ребята частенько прибегали в избушку Богача, чтобы поиграть с зайчиком, и приносили ему что-нибудь из съестного. Кто тащит репку, кто морковку, кто свеклу или картошку. Черное Ушко принимал эти дары с благодарностью и тут же их съедал с жадностью. Ухватит передними лапками морковку, припадет к ней головой и быстро-быстро обгрызет, точно обточит. Он отличался большой прожорливостью, так что даже Богач удивлялся.

— И в которое место он ест такую прорву... Не велика скотинка, а все бы ел, сколько ему ни дай.

Чаше других бывала Ксюша, которую деревенские ребята прозвали «заячьей крестной». Черное Ушко отлично ее знал, сам бежал к ней и любил спать у нее на коленях. Но он же и отплатил ей самой черной неблагодарностью. Раз, когда Ксюша уходила домой, Черное Ушко с быстротой молнии шмыгнул в дверях около ее ног — и был таков. Девочка горько расплакалась. Еремка сообразил, в чем дело, и бросился в погоню.

— Как же, ищи ветра в поле... — посмеялся над ним Богач. — Он похитрее тебя будет... А ты, Ксюшка, не реви. Пусть его побегает, а потом сам вернется. Куда ему деться?

— Наши деревенские собаки его разорвут, дедушка...

— Так он и побежал тебе в деревню... Он прямо махнул за реку, к своим. Так и так, мол, жив и здоров, имею собственную квартиру и содержание. Побегает, поиграет и назад придет, когда есть захочет. А Еремка-то глупый, бросился его ловить... Ах, глупый пес!..

«Заячья крестная» все-таки ушла домой со слезами, да и сам старый Богач мало верил тому, что говорил. И собаки по дороге могут разорвать, и у себя дома лучше покажется. А тут еще Еремка вернулся домой, усталый, виноватый, с опущенным хвостом. Старому Богачу сделалось даже жутко, когда наступил вечер. А вдруг Черное Ушко не придет... Еремка лег у самой двери и прислушивался к каждому шороху. Он тоже ждал. Обыкновенно Богач разговаривал с собакой, а тут молчал. Они понимали друг друга без слов.

Наступил вечер. Богач засиделся за работой дольше обыкновенного. Когда он уже хотел ложиться спать на свою печь, Еремка радостно взвизгнул и бросился к двери.

— Ах, косой, вернулся из гостей домой...

Это был действительно он, Черное Ушко. С порога он прямо бросился к своей чашке и принялся пить молочко, потом съел кочерыжку и две морковки.

— Что, брат, в гостях-то плохо тебя угощали? — говорил Богач, улыбаясь. — Ах ты, бесстыдник, бесстыдник. И крестную свою до слез довел.

Еремка все время стоял около зайца и ласково помахивал хвостом. Когда Черное Ушко съел все, что было в чашке, Еремка облизал ему морду и начал искать блох.

— Ах вы, озорники! — смеялся Богач, укладываясь на печи. — Видно, правду пословица говорит: вместе тесно, а врозь скучно...

Ксюша прибежала на другое утро чем свет и долго целовала Черное Ушко.

— Ах ты, бегун скверный... — журила она его. — Вперед не бегай, а то собаки разорвут. Слышишь, глупый? Дедушка, а ведь он все понимает...

— Еще бы не понимать, — согласился Богач, — небойсь вот как знает, где его кормят...

После этого случая за Черным Ушком уже не следили. Пусть его убегает поиграть и побегать по снежку. На то он и заяц, чтобы бегать. Месяца через два Черное Ушко совсем изменился: и вырос, и потолстел, и шерсть на нем начала лосниться. Он вообще доставлял много удовольствия своими шалостями и веселым характером, и Богачу казалось, что и зима нынче как-то скорее прошла.

Одно только было нехорошо. Охота на зайцев давала Богачу порядочный заработок. За каждого зайца он получал по четвертаку, а это большие деньги для бедного человека. В зиму Богач убивал штук сто. А теперь выходило так, как будто и совестно губить глупых зайцев, совестно перед Черным Ушком. Вечером Богач и Еремка уходили на охоту крадучись и никогда не вносили в избу убитых зайцев, как прежде, а прятали их в сених. Даже Еремка это понимал, и когда в награду за охоту получал заячьи внутренности, то уносил их куда-нибудь подальше от сторожки и съедал потихоньку.

— Что, брат, совестно? — шутил над ним старик. — Оно, конечно, заяц — тварь вредная, озорная, а все-таки оно того... Может, и в ём своя заячья душонка есть, так, плохонькая совсем душонка.

Зима прошла как-то особенно быстро. Наступил март. По утрам крыши обрастали блестящей бахромой из ледяных сосулек. Показались первые проталинки. Почки на деревьях начали бухнуть и наливаться. Прилетели первые грачи. Все кругом обновлялось и готовилось к наступающему лету, как к празднику. Один Черное Ушко был невесел. Он начал пропадать из дому все чаще и чаще, похудел, перестал играть, а вернется домой, наестся и целый день спит в своем гнезде под лавкой.

— Это он линяет, ну, вот ему и скучно, — объяснял Богач. — По весне-то зайцев не бьют по этому самому... Мясо у него тощее, шкурка как молью подбита. Одним словом, как есть ничего не стоит...

Действительно, Черное Ушко начал менять свою зимнюю белую шубку на летнюю, серую. Спинка сделалась уже серой, уши, лапки тоже, и только брюшко оставалось белым. Он любил выходить на солнышко и подолгу грелся на завалинке.

Раз прибежала Ксюша проведать своего крестника, но его не было дома уже целых три дня.

— Теперь ему и в лесу хорошо, вот и ушел, пострел, — объяснял Богач пригорюнившейся девочке. — Теперь зайцы почку едят, ну, а на проталинках и зеленую травку ущипнет. Вот ему и любопытно...

— А я ему молочка принесла, дедушка...

— Ну, молочко мы и без него съедим...

Еремка вертелся около Ксюши и лаял на опустевшее под лавкой заячье гнездо.

— Это он тебе жалуется, — объяснял Богач. — Хотя и пес, а все-таки обидно... Всех нас обидел, пострел.

— Он недобрый, дедушка... — говорила Ксюша со слезами на глазах.

— Зачем недобрый? Просто заяц — и больше ничего. Лето погуляет, пока еда в лесу есть, а к зиме, когда нечего будет есть, и вернется сам... Вот увидишь. Одним словом, заяц...

Черное Ушко пришел еще раз, но к самой сторожке не подошел, а сел пеньком и смотрит издали. Еремка подбежал к нему, лизнул в морду, повизжал, точно приглашая в гости, но Черное Ушко не пошел. Богач поманил его; но он оставался на своем месте и не двигался.

— Ах, пострел! — ворчал старик. — Ишь как сразу зазнался, косой...

IV

Прошла весна. Наступило лето. Черное Ушко не показывался. Богач даже рассердился на него.

— Ведь мог бы как-нибудь забежать на минутку... Кажется, не много дела и время найдется.

Ксюша тоже сердилась. Ей было обидно, что она целую зиму так любила такого нехорошего зайца... Еремка молчал, но тоже был недоволен поведением недавнего приятеля.

Прошло и лето. Наступила осень. Начались заморозки. Перепадал первый мягкий, как пух, снежок. Черное Ушко не показывался.

— Придет, косой... — утешал Богач Еремку. — Вот погоди: как занесет все снегом, нечего будет есть, ну, и придет. Верно тебе говорю...

Но выпал и первый снег, а Черное Ушко не показывался. Богачу сделалось даже скучно. Что же это в самом деле: уж нынче и зайцу нельзя поверить, не то что людям...

Однажды утром Богач что-то мастерил около своей избушки, как вдруг послышался далекий шум, а потом выстрелы. Еремка насторожился и жалобно взвизгнул.

— Батюшки, да ведь это охотники поехали стрелять зайцев! — проговорил Богач, прислушиваясь к выстрелам, доносившимся с того берега реки. — Так и есть... Ишь как запаливают... Ох, убьют они Черное Ушко! Непременно убьют...

Старик, как был, без шапки побежал к реке. Еремка летел впереди.

— Ох, убьют! — повторял старик, задыхаясь на ходу. — Опять стреляют...

С горы было все видно. Около лесной заросли, где водились зайцы, стояли на известном расстоянии охотники, а из лесу на них гнали дичь загонщики. Вот затрещали деревянные трещотки, поднялся страшный гам и крик, и показались из заросли перепуганные, оторопелые зайцы. Захлопали ружейные выстрелы, и Богач закричал не своим голосом:

— Батюшки, погодите!! Убьете моего зайца... Ой, батюшки!!

До охотников было далеко, и они ничего не могли слышать, но Богач продолжал кричать и махал руками. Когда он подбежал, загон уже кончился. Было убито около десятка зайцев.

— Батюшки, что вы делаете? — кричал Богач, подбегая к охотникам.

— Как, что? Видишь, зайцев стреляем.

— Да ведь в лесу-то мой собственный заяц живет...

— Какой твой?

— Да так... Мой заяц — и больше ничего. Левая передняя лапка перешиблена... Черное Ушко...

Охотники засмеялись над сумасшедшим стариком, который умолял их не стрелять со слезами на глазах.

— Да нам твоего зайца совсем не надо, — пошутил кто-то. — Мы стреляем только своих...

— Ах, барин, барин, нехорошо... Даже вот как нехорошо...

Богач осмотрел всех убитых зайцев, но среди них Черного Ушка не было. Все были с целыми лапками.

Охотники посмеялись над стариком и пошли дальше по лесной опушке, чтобы начать следующий загон. Посмеялись над Богачом и загонщики, ребята-подростки, набранные из деревни, посмеялся и егерь Терентий, тоже знакомый мужик.

— Помутился немножко разумом наш Богач, — пошутил еще Терентий. — Этак каждый начнет разыскивать по лесу своего зайца...

Для Богача наступало время охоты на зайцев, но он все откладывал. А вдруг в ловушку попадет Черное Ушко? Пробовал он выходить по вечерам на гумна, где кормились зайцы, и ему казалось, что каждый пробегающий мимо заяц — Черное Ушко.

— Да ведь Еремка-то по запаху узнает его, на то он пес... — решил он. — Надо попробовать...

Сказано — сделано. Раз, когда поднялась непогода, Богач отправился с Еремкой на охоту. Собака пошла под гору как-то неохотно и несколько раз оглядывалась на хозяина.

— Ступай, ступай, нечего лениться... — ворчал Богач.

Он обошел гумна и погнал зайцев. Выскочило зараз штук десять.

«Ну, будет Еремке пожива...» — думал старик.

Но его удивил собачий вой. Это был Еремка, сидя под горой на своем месте. Сначала Богач подумал, что собака взбесилась, и только потом понял, в чем дело: Еремка не мог различить

зайцев... Каждый заяц ему казался Черным Ушком. Сначала старик рассердился на глупого пса, а потом проговорил:

— А ведь правильно, Еремка, даром что глупый пес... Верно, шабаш нам зайцев душить. Будет...

Богач пошел к хозяину фруктового сада и отказался от своей службы.

— Не могу больше... — коротко объяснил он.

Волки

Шли мы с одним крестьянским мальчиком про лесу. Идем, говорим. Вдруг как вскрикнет Сеня:

— Смотрите, волк!

В самом деле, совсем близко от нас, в кустах, показалась желтовато-серая голова. Мы остановились. Но серая голова не подвигалась к нам, и я заметил, что глаза смотрели не злобно, а как-то даже испуганно и устало.

— Смирный, — сказал Сеня. — Сытый, видно: зубов не скалит.

— Ай, батюшки! — сказал он потом. — Да ведь зубов у него нет! Глядите, пустая пасть!

Нагнувшись ниже, я увидел, что пасть действительно была пустая. Глаза волка также жалобно глядели на нас.

— Эге! Старичок, значит, беззубый! То-то он и смирный такой! — сказал я.

Волк еще раз пугливо оглянулся на нас и видя, что мы его не трогаем, побежал прочь. Мы увидели, что он прихрамывает и тяжело передвигает ноги.

— Как только живет он? — вымолвил я. — Что ест? Ведь без зубов он никакого зверька добыть не может....

Вечерело. Мы подходили к лесной сторожке.

— Зайдите отдохнуть, чайку попить! — крикнул с порога мой знакомый лесник.

Пока самовар пыхтел в углу, мы разговорились. Рассказали про встречу с волком.

— Да есть тут такой, — сказал лесник, — совсем старый. Давно бы погиб, кабы товарищи не кормили.

— Как товарищи? — воскликнули мы с удивлением.

— Да своя ж, значит, братия: волки же. Вы не смотрите, что волк — злой зверь, до своих-то они жалостливые. Старик ведь уж дряхлый, давно помирать пора, а жалеют, кормят. Я сам раз видел, право! Обхожу как-то, раз, лес, а день был жаркий, устал. Вспотел. Лег на траву отдохнуть, да и заснул. Проснулся, слышу, шорох какой-то. Приподнялся тихонько, гляжу. Старик, волк этот самый, лежит неподалеку. Смотрит жалостно. А рядом молодой стоит. Сусликов каких-то принес, положил возле старика — волка. Сам не ест, глядит. «Ешь, мол, дедушка».

Молодой волк отрывает куски мяса и бросает старому, как волчица волчонку. Так и накормил ведь. Подивился я тогда, но не шелохнулся, пока старик-волк всего не съел, а молодой не убежал.

Подивились и мы с Сеней доброте и заботливости волков. А ведь как ругают люди волков! Какими жестокими и злыми их считают!

Лесная сказка

У реки, в дремучем лесу, в один прекрасный зимний день остановилась толпа мужиков, приехавших на санях. Подрядчик обошел весь участок и сказал:

— Вот здесь рубите, братцы... Ельник отличный. Лет по сту каждому дереву будет...

Он взял топор и постучал обухом по стволу ближайшей ели. Великолепное дерево точно застонало, а с мохнатых зеленых ветвей покатались комья пушистого снега. Где-то в вершине мелькнула белка, с любопытством глядевшая на необыкновенных гостей; а громкое эхо прокатилось по всему лесу, точно разом заговорили все эти зеленые великаны, занесенные снегом. Эхо замерло далеким шепотом, будто деревья спрашивали друг друга: кто это приехал? Зачем?..

— Ну, а вот эта старушка никуда не годится... — прибавил подрядчик, постукивая обухом стоящую ель с громадным дуплом. — Она наполовину гнилая.

— Эй ты, невежа, — крикнула сверху Белка. — Как ты смеешь стучать в мой дом? Ты приехал только сейчас, а я прожила в дупле этой самой ели целых пять лет.

Она щелкнула зубами, распушила хвост и так зашипела, что даже самой сделалось страшно. А невежа-подрядчик не обратил на нее никакого внимания и продолжал указывать рабочим, где следовало начать порубку, куда складывать дрова и хворост.

Что было потом, трудно даже рассказать. Никакое перо не опишет того ужаса, который совершился в каких-нибудь две недели. Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились слезы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком большое горе. А с каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали!.. Некоторые даже сопротивлялись, не желая поддаваться ничтожному человеку: они хватались ветвями за соседние деревья во время своего падения. Но все было напрасно: и слезы, и стоны, и сопротивление. Тысячи деревьев лежали мертвыми, как на поле сражения, а топор все продолжал свое дело. Деревья-трупы очищались от хвои, затем оголенные стволы разрубались на равные части и складывались правильными рядами в поленицы дров. Да, самые обыкновенные поленицы, которые мы можем видеть везде, но не всегда думаем, сколько живых деревьев изрублено в такую поленицу и сколько нужно было долгих-долгих лет, чтобы такие деревья выросли.

Уцелела одна старая ель с дуплом, в котором жила старая Белка с своей семьей. Под этой елью рабочие устроили себе балаган и спали в нем. Целые дни перед балаганом горел громадный костер, лизавший широким, огненным языком нижние ветки развесистого дерева. Зеленая хвоя делалась красной, тлела, а потом оставались одни обгоревшие сучья, топорщившиеся, как пальцы. Старая Белка была возмущена до глубины души этим варварством и громко говорила:

— Для чего все это сделано?.. Кому мешал красавец лес? Противные люди! Нарочно придумали

железные топоры, чтобы рубить ими деревья... Кому это нужно, чтобы вместо живого, зеленого леса стояли какие-то безобразные поленницы? Не правда ли, старушка Ель?

— Я ничего не знаю и ничего не понимаю, — грустно ответила Ель, вздрагивая от ужаса. — Мое горе настолько велико, что я не могу даже подумать о случившемся... Лучше было погибнуть и мне вместе с другими, чтобы не видеть всего, что происходило у меня на глазах. Ведь все эти срубленные деревья — мои дети. Я радовалась, когда они были молодыми деревцами, радовалась, глядя, как они весело росли, крепили и поднимались к самому небу. Нет, это ужасно... Я не могу ни говорить, ни думать!.. Конечно, каждое дерево когда-нибудь должно погибнуть от собственной старости; но это совсем не то, когда видишь срубленными тысячи деревьев в расцвете сил, молодости и красоты.

Люди, срубившие деревья, почти совсем не говорили о них, точно все так было, как должно быть. Они заботились теперь о том, как бы поскорее вывезти заготовленные дрова и уехать самим. Может быть, их мучила совесть, а может быть, им надоело жить в лесу, — вернее, конечно, последнее.

К ним на помощь явились другие. Они в несколько дней сложили приготовленные дрова на воза и увезли, оставив одни пни и кучи зеленого хвороста. Вся земля была усыпана щепками и сором, так что зимнему ветру стоило больших хлопот засыпать эту безобразную картину свежим, пушистым снегом.

— Где же справедливость? — жаловалась Ветру старая Ель. — Что мы сделали этим злым людям с железными топорами?

— Они совсем не злые, эти люди, — ответил Ветер. — А просто ты многого не знаешь, что делается на свете.

— Конечно, я сижу дома, не шатаюсь везде, как ты, — угрюмо заметила Ель, недовольная замечанием своего старого знакомого. — Да я и не желаю знать всех несправедливостей, какие делаются. Мне довольно своего домашнего дела.

— Ты, Ветер, много хвастаешься, — заметила в свою очередь старая Белка. — Что же ты можешь знать, когда должен постоянно лететь сломя голову все вперед? Потом, ты делаешь часто большие неприятности и мне и деревьям: нагонишь холоду, снегу...

— А кто летом гонит к вам дождевые облака? Кто весной обсушит землю? Кто?.. Нет, мне некогда с вами разговаривать! — еще более хвастливо ответил Ветер и улетел. — Прощайте пока...

— Самохвал!.. — заметила вслед ему Белка.

С Ветром у леса велись искони неприятные счеты главным образом зимой, когда он приносил страшный северный холод и сухой, как толченное стекло, снег. Деревья к северу повертывались спиной и тянулись своими ветвями на юг, откуда веяло благодатным теплом. Но в густом лесу, где деревья защищали друг друга, Ветер мог морозить только одни вершины, а теперь он свободно гулял по вырубленному месту, точно хозяин, и это приводило старую Ель в справедливое негодование, как и Белку...

II

Наступила весна. Глубокий снег точно присел, потемнел и начал таять. Особенно скоро это случилось на новой поруби, где весеннее солнце припекало так горячо. В густом лесу,

обступавшем порубь со всех сторон, снег еще оставался, а на поруби уже выступали прогалины, снеговая вода сбегала ручьями к одному месту, где под толстым льдом спала зимним сном Речка Безымянка.

— Что вы меня будите раньше времени? — ворчала она. — Вот снег в лесу тает, и я проснусь.

Но ее все-таки разбудили раньше. Проснувшись, река не узнала своих берегов; везде было голо и торчали одни пни.

— Что такое случилось? — удивлялась Речка, обращаясь к одиноко стоявшей старой Ели. — Куда девался лес?

Старая Ель со слезами рассказала старой приятельнице обо всем случившемся и долго жаловалась на свою судьбу.

— Что же я теперь буду делать? — спрашивала Речка. — Раньше лес задерживал влагу, а теперь все высохнет... Не будет влаги, — не будет и лесных ключиков с холодной водой. Вот горе!.. Чем я буду поить прибрежную траву, кусты и деревья? Я сама высохну с горя...

А весеннее солнце продолжало нагревать землю. Дохнул теплом первый весенний ветерок, прилетевший с теплого моря. Набухли почки на березах, а мохнатые ветви елей покрылись мягкими, светлыми почками. Это были молодые побеги новой хвои, выглянувшие зелеными глазками. Через мокрый, почерневший снег, точно изъеденный червями, пробился своей желтой головкой первый Подснежник и весело крикнул тоненьким голоском:

— Вот и я, братцы!.. Поздравляю с весной!

Прежде в ответ сейчас же слышался веселый шепот елей, кивавших своими ветвями первому весеннему гостю, а теперь все молчало кругом, так, что Подснежник был неприятно удивлен таким недружелюбным приемом. Когда развернулась цветочная почка и Подснежник глянул кругом желтым глазком, он ахнул от изумления: вместо знакомых деревьев торчали одни пни; везде валялись кучи хвороста, щеп и сучьев. Картина представлялась до того печальная, что Подснежник даже заплакал.

— Если бы я знал, то лучше остался бы сидеть под землей, — печально проговорил он, повертываясь на своей мохнатой ножке. — От леса осталось одно кладбище.

Старушка Ель опять рассказала про свое страшное горе, а Белка подтвердила ее слова. Да, зимой приехали люди с железными топорами и срубили тысячи деревьев, а потом изрезали их на дрова и увезли.

Не успел этот разговор кончиться, как показались перистые листья папоротников. В густом дремучем лесу трава не растет, а мох и папоротник, — они любят и полусвет и сырость. Их удивление было еще больше.

— Что же? Нам ничего не остается, как только уйти отсюда, — сурово проговорил самый большой Папоротник. — Мы не привыкли жариться на солнце...

— И уходите... — весело ответила зеленая Травка, выбившаяся откуда-то из-под сора нежными усиками.

— А ты откуда взялась? — сурово спросила старая Ель незваную гостью. — Разве твое место здесь? Ступай на берег реки, к самой воде...

Весело засмеялась зеленая Травка на это ворчанье. Зачем она пойдет, когда ей и здесь хорошо? Довольно и света, и земли, и воздуха. Нет, она останется именно здесь, на этой жирной земле, образовавшейся из перегнившей хвои, моха и сучьев.

— Как я попала сюда? Вот странный вопрос! — удивлялась Травка, улыбаясь. — Я приехала, как важная барыня... Меня привезли вместе с сеном, которое ели лошади: сено-то они съели, а я осталась. Нет, мне решительно здесь нравится... Вы должны радоваться, что я покрою все зеленым, изумрудным ковром.

— Вот это мило! — заметила Белка, слушавшая разговор. — Пришла неизвестно откуда, да еще разговаривает... А впрочем, что же, пусть растет пока, особенно если сумеет закрыть все эти щепы и сор, оставленные дровосеками.

— Я никому не помешаю, — уверяла Травка. — Мне нужно так немного места... Сами будете потом хвалить. А вот вы лучше обратите внимание вон на те зеленые листочки, которые пробиваются из-под щеп: это осина. Она вместе со мной приехала в сене, и мне всю дорогу было горько. По-моему, осина — самое глупое дерево: крепости в нем никакой, даже дрова из нее самые плохие, а разрастается так, что всех выживает.

— Ну, это уж из рук вон! — заворчала старая Ель. — Положим, старый ельник вырублен, но на его месте вырастут молодые елочки... Здесь наше старинное место, и мы его никому не уступим.

— Когда еще твои елочки вырастут, а осинник так разрастется, что все задушит, — объяснила Белка. — Я это видела на других порубях... Осина всегда занимала чужие места, когда хозяева уйдут... И вырастает она скоро, и неприхотлива, да и живет недолго. Пустое дерево, вечно что-то бормочет, а что — и не разберешь. Да и мне от него поживы никакой.

В одну весну на свежей поруби явились еще новые гости, которые и сами не умели объяснить, откуда явились сюда. Тут были и молодые рябинки, и черемуха, и малинники, и ольхи, и кусты смородины, и верба; все эти породы жались главным образом к реке, оттесняя одна другую, чтобы захватить местечко получше. Ссорились они ужасно, так что старая Ель смотрела на них, как на разбойников или мелких воришек, которые никак не могли разделить попавшуюся в руки лакомую добычу.

— Э, пусть их, — успокаивала ее Белка. — Пусть ссорятся и выгоняют друг друга. Нужно подождать, старушка. Только бы побольше уродилось шишек, а из шишек выпадет семя и народаются маленькие елочки.

— У тебя только и заботы, что о шишках! — укорила Ель лукавую лакомку. — Всякому, видно, до себя...

Порубь заросла вся в одну весну и новой травой, и новыми древесными породами, так что о сумрачных папоротниках не было здесь и помину. В зеленой, сочной траве пестрели и фиолетовые колокольчики, и полевая розовая гвоздика, и голубые незабудки, и ландыши, и фиалки, и пахучий шалфей, и розовые стрелки иван-чая. Недавняя смерть сменилась яркой жизнью молодой поросли; а в ней зачирикала, засвистела и рассыпалась веселыми трелями разная мелкая птичка, которая не любит глухого леса и держится по опушкам и мелким зарослям. Приковылял в своих валенках и косой заяк: щипнул одну травку, попробовал другую, погрыз третью и весело сказал Белке:

— Это повкуснее будет твоих шишек... Попробуй-ка!..

III

С тех пор как вырубили лес у реки, прошло уже несколько лет, и порубь сделалась неузнаваемой. С вершины старой Ели виднелось точно сплошное зеленое озеро, разлившееся в раме темного ельника, обступившего порубь со всех сторон зубчатой стеной. Старая Белка, бывшая свидетельницей порубки, успела в это время умереть, оставив целое гнездо молоденьких белочек, резвившихся и прыгавших в мохнатой зелени старой Ели.

— Посмотрите-ка, что там делается, на реке, — просила старушка Ель своих бойких квартиранток. — Меня ужасно это беспокоит... Кажется, довольно здесь набралось всяких деревьев, а идут все новые... Насильно лезут вперед, продираются, душат друг друга, — это меня удивляет! Мне, наконец, надоели эта суматоха и постоянные раздоры... Прежде было так тихо и чинно, каждое дерево знало свое место, а теперь точно с ума все сошли...

Белочки прыгали к реке и сейчас же приносили невеселый ответ:

— Плохо, бабушка Ель... По реке вверх поднимаются новые травы и цветы, новые кустарники, и все это стремится на порубь, чтобы захватить хоть какой-нибудь кусок земли.

— Э, пусть идут: мне теперь все равно, — печально шептала старушка Ель. — Мне и жить осталось недолго.

Время в лесу шло скорее, чем в городах, где живут люди. Деревья считали его не годами, а десятками лет. Происходило это, вероятно, потому, что деревья живут гораздо дольше людей и растут медленнее. С другой стороны, существовали однолетние растения, для которых весь круг жизни совершался в одно лето, — они рождались весной и умирали осенью. Кустарники жили десять-двадцать лет, а потом начинали хиреть, теряли листья и постепенно засыхали. Лиственные деревья жили еще дольше, но до ста лет выживали одни липы и березы, а осины, черемухи и рябины погибали, не дожив и половины. С лиственными деревьями пришли и свои травы, и цветы, и кустарники — эта веселая зеленая свита, которая не встречается в глухих хвойных лесах, где недостает солнца и воздуха и где могут жить одни папоротники, мхи и лишайники.

Главными действующими лицами на поруби являлись теперь река Безымянка и Ветер, — они вместе несли свежие семена новых растений и лесных пород, и таким образом происходило передвижение растительности. Через двадцать лет вся порубь заросла густым смешанным лесом, точно зеленая щетка. Посторонний глаз ничего здесь не разобрал бы, — так перемешались разные породы деревьев. Зеленая трава и цветы первыми покрыли свежую порубь, а теперь они должны были отступить на берег реки и лесные опушки, потому что в густой заросли им делалось душно да и солнца не хватало.

Но среди светлой зелени лиственных пород скоро показались зеленые стрелки молодых елочек, — они целой семьей окружали старую, дуплистую ель и, точно дети, рассыпались по опушке оставшейся нетронутой стены старого дремучего ельника.

— Не пускайте их! — кричала горькая Осина, шелестя своими дрожавшими листиками. — Это место наше... Вот как они продираются. Пожалуй, и нас выгонят...

— Ну, это еще мы посмотрим, — спокойно ответили зеленые Березки. — А мы не дадим им свету... Загораживайте им солнце, — отнимайте из земли все соки. Мы еще посмотрим, чья возьмет...

Завязалась отчаянная война, которая особенно страшна была тем, что она совершалась молча,

без малейшего звука. Это была общая война лиственных пород против молодой хвойной поросли. Березы и осины протягивали свои ветви, чтобы загородить солнечные лучи, падавшие на молодые елочки. Нужно было видеть, как томились без солнца эти несчастные елочки, как они задыхались, хирели и засыхали. Еще сильнее шла война под землей, где в темноте неутомимо работали нежные корни, сосавшие питательную влагу. Корешки травы и цветов работали в самом верхнем слое почвы, глубже их зарывались корни кустарников, а еще глубже шли корни берез и молоденьких елочек. Там, в темноте, они переплетались между собой, как тонкие белые волосы.

— Дружнее работайте, детки! — ободряла их старая Ель. — Не теряйте времени...

Вся беда была в том, что березы росли быстрее елочек, но, с другой стороны, елочки оставались зелеными круглый год и пользовались одни светом и солнцем, пока березки спали зимним сном.

— Бабушка, нам трудно, — жаловались Елочки каждую весну. — Одолеют нас березы летом. Они в одно лето вырастут больше, чем мы — в два года.

— Имейте терпение, детки! Ничего даром не дается, а все добывается тяжелым трудом... Дружнее работайте!..

Кусты отступили первыми; им нечего было здесь делать. Они скромно исчезли, уступив место более сильным лесным породам. Молодому осиннику приходилось также плохо: его теснили березы.

— Вы это что же делаете? — спросили Осины. — Мы прежде вас пришли сюда, а вы нас же начинаете выживать... Это бессовестно!..

— Вы находите, что бессовестно? — смеялись веселые Березки. — Только мы несколько не виноваты... Вас все равно выгонят отсюда вот эти елочки, как только они подрастут. Вы уж лучше уходите сами подобра-поздорову и поищите себе другого места. Только мешаете нам.

— Мы им мешаем?! Мы им мешаем?! — шептали огорченные листики бедной Осины. — Это называется просто нахальством. Вы пользуетесь правом сильного. Да... Когда-нибудь вы раскаетесь, когда самим придется плохо...

— Ах, отстаньте, надоели! Некогда нам разговаривать с вами...

Плохо пришлось осинкам, когда их загнали в самый угол поруби; с одной стороны на них наступал молодой березняк, а с другой — молодая еловая поросль.

— Батюшки, погибаем! — кричали несчастные Осинки. — Господа, что же это такое? Двое на одного...

— Уходите! Уходите! — тысячами голосов кричали Елочки. — Вы нам только мешаете... Смешно плакать, когда идет война. Нужно уметь умирать с достоинством, если нет силы жить...

— А где же у нас рябины и черемухи? — спрашивал насмешник-Ветер, прилетавший поиграть с молодыми березками. — Ах, бедные, они ушли совсем незаметно, чтобы никого не побеспокоить...

Большой шалун был этот Ветер: каждую веточку по дороге нагнет, каждый листочек поцелует

и с веселым свистом летит дальше. Ему и горя мало, как другие живут на свете, и только самому бы погулять. Правда, зимой, в холод, ему приходилось трудненько, и Ветер даже стонал и плакал, но ему никто не верил; это горе было только до первого весеннего луча.

IV

Прошло пятьдесят лет.

От старой поруби не осталось и следа. На ее месте поднималась зеленая рать молодых елей, рвавшихся в небо своими стрелками. Среди этой могучей хвойной зелени сиротами оставались кой-где старые березы, — на всю порубь их было не больше десятка. Там, где торжествовали смерть и разрушение, теперь цвела молодая жизнь, полная силы и молодого веселья. В этой зелени выделялась своей побуревшей вершиной одна старая Ель.

— Ох, детки, плохо мне... — часто жаловалась старушка, качая своей бурой вершиной. — Нехорошо так долго заживаться на свете. Всему есть свой предел... Теперь я умру спокойно, в своей семье, — а то совсем было осталась на старости лет одна-одинешенька.

— Бабушка, мы не дадим тебе умереть! — весело кричали молодые Ели. — Мы тебя будем защищать и от ветра, и от холода, и от снега.

— Нет, детки, устала я жить... Довольно. Меня уже точат и черви, и жучки, а сверху разъедают кору лишайники.

— Тук, тук!.. — крикнул пестрый Дятел, долбивший старую Ель своим острым клювом. — Где жучки? Где червячки? Тук... тук... тук... Я им задам!.. Тук... Не беспокойтесь, старушка, я их всех вытащу и скушаю... Тук!..

— Да ведь ты меня же долбишь, мою старую кору? — стонала Ель, возмущенная нахальством нового гостя. — Прежде в дупле жили белки, так те шишки мои ели, а ты долбишь меня, мое деревянное тело. Ах, приходит, видно, мой конец.

— Ничего. Тук!.. Я только червячков добуду... Тук, тук, тук!..

Молодые елочки были возмущены бессовестностью дятла; но что поделаешь с нахалом, который еще уверяет, что трудится для пользы других! А старая Ель только вздрагивала, когда в ее дряблое тело впивался острый клюв. Да, пора умирать.

— Детки, расскажу я вам, как я попала сюда, — шептала старушка. — Давно это было... Мои родители жили там, на горе, в камнях, где так свистит холодный ветер. Трудно им приходилось, особенно по зимам... Больше всех обижал Ветер: как закрутит, как засвистит... Северная сторона у елей вся была голая, а нижние ветви стлались по земле. Трудно было и пищу добывать между камнями. Корни оплетали камни и крепко держались за них. Ель — неприхотливое дерево и крепкое, не боится ничего. Сосны и березы не смели даже взглянуть туда, где мои родители зеленели стройной четой. Выше их росли только болотная горная трава да мох... Красиво было там, на горе... Да... На такую высоту только изредка забежали белки да зайцы. Одна такая белка подобрала между камнями спелую еловую шишку и утащила сюда, в свой дом, а из этой шишки выросла я. Здесь привольнее, чем на горе, хоть и не так красиво. Вот моя история, детки... Долго я жила и скажу одно, что мы, ели, — самое крепкое дерево, а поэтому другие породы и не могут нас одолеть. Сосна тоже хорошее дерево, но не везде может расти... Вот пихты и кедры — те одного рода с нами и также ничего не боятся...

Все слушали старушку с приличным молчанием, а папоротники широко простирали свои

листья-перья. В молодом лесу уже водворились сырость и вечная полумгла, какие необходимы этому красивому растению. О полевых цветах и веселой зеленой травке не было и помину, а от старых берез оставались одни гнилые пни, в которых жили мыши и землеройки. Следы поруби исчезли окончательно.

Настал и роковой день. Это было среди лета. С вечера еще ветер нагнал темную тучу, которая обложила половину неба. Все притихло в ожидании грозы, и только изредка налетал ветер. В воздухе сделалось душно. Весело журчала одна Безымянка: ветер принесет ей новой воды. Обновилась и зеленая травка, которую несколько дней жгло солнце.

— Эй, берегись! — свистал Ветер, проносясь по верхушкам елей. — Я вас всех утешу, только стоять крепче.

Потом все стихло. Сделалось совсем темно. Где-то далеко грянул первый гром, а туча уже закрыла все небо. Ослепительно сверкнула молния, и раздался новый, страшный удар грома прямо над лесом. Где-то что-то затрещало и зашумело. Посыпались первые крупные капли дождя, и рванулся ветер, а там — новый удар грома. Эта канонада продолжалась в течение целого часа, а когда она кончилась и буря пронеслась, старая Ель лежала уже на земле. Она рухнула под тяжестью пережитых лет и старческого бессилия. Когда взошло солнце и под его лучами ярко заблестела омытая дождем зелень, не оказалось только одной бурой вершины старой Ели...

Сказка про царя Гороха

Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье. Из сказки слова не выкинешь, а что было, то и быльем поросло. Только бежал мимо косой заяц — послушал длинным ухом, летела мимо жар-птица — посмотрела огненным глазом... Шумит-гудит зеленый лес, расстилается шелковым ковром трава-мурава с лазоревыми цветками, поднимаются к небу каменные горы, льются с гор быстрые реки, бегут по синю морю кораблики, а по темному лесу на добром коне едет могуч русский богатырь, едет путем-дорогою, чтобы добыть разрыв-траву, которой открывается счастье богатырское. Ехал-ехал богатырь и доехал до росстани, где сбежались три пути-дороженьки. По какой ехать? Поперек одной лежит дубовая колода, на другой стоит березовый пенёк, а по третьей ползет маленький червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю.

— Чур меня! — крикнул он на весь дремучий лес. — Отвались от меня нечистая сила...

От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из березового дупла сыч, дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом, засвистели над богатырской головой черные вороны...

— Чур меня!..

И вдруг все пропало, сгинуло. Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет.

— Ступай прямо! — крикнула из болота лягушка. — Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет...

Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелеными волосами и смеются над богатырем девичьим смехом:

— У нас, богатырь, разрыв-трава! У нас твое счастье... Задумался могучий богатырь, остановился добрый конь.

Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? — это только присказка, а сказка впереди.

I

Жил-был, поживал славный царь Горох в своем славном царстве гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним.

— Ах, какой у нас добрый царь Горох! — говорили все. А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает,

и еще ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили.

Потом любил царь Горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет:

— А не пойти ли нам на царя Пантелея? Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет... Надо его проучить.

Войска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох и после каждой войны привозил много всякого добра — и золотой казны, и самоцветных камней, и шелковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку: мука — подавай сюда и муку: дома пригодится; корова — давай и корову, сапоги — давай и сапоги, масло — давай масло в кашу. Даже брал царь Горох Дань лыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей и чужим веником лучше париться.

Все иностранные короли и славные цари завидовали Удаче царя Гороха, а главное, его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо:

— Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться.

Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе, да еще не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец — пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:

— Кажется, взял бы все на свете одному себе... Разве я виноват, что у меня так рука устроена?

— Что же, бери, пока дают, — утешала его царица Луковна. — Ты не виноват. А если добром не отдадут, так можно и силой отнять.

Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха шесть пальцев на руке и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.

II

Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый царевич Орлик, потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошинка, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошинки решительно никто не видал, кроме отца с матерью.

— Что мы с ней будем делать, царица? — спрашивал в ужасе славный царь Горох. — Все люди рождаются, как люди, а наша дочь с горошинку...

— Что же делать — пусть живет... — печально отвечала царица.

Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку больше, чем других детей, — тех и другие любят, а эта мила только отцу с матерью.

Царевна Горошинка выросла ростом в горошинку и была так же весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошинка выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошинка едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы, грешным делом, не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу.

— Ах, какая она смешная! — удивлялся царь Горох, качая головой.

Маленькая царевна Горошинка тоже удивлялась. Какое все большое кругом — и отец с матерью, и комнаты, и мебель! Раз она забралась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в напёрсток, так что царь Горох едва ее нашел.

Всего хуже было то, что как царевна Горошинка стала подрастать, — ей хотелось все видеть и все знать. И то покажи ей, и другое, и третье... Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох — нечего делать, хоть и царь, а мастера для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошинки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошинка попросила мать взять ее с собой в сад.

— Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают, — упрашивала царевна

Горошинка. — Я ничего не сломаю и не испорчу...

— Ах, что я с ней буду делать? — взмолилась царица Луковна.

Однако пошли в сад. Царь Горох стоял настороже, чтобы кто-нибудь не увидел царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошинка и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошинка забралась в траву, а там сидела толстая, старая лягушка — увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.

III

Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошинка, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и все гороховое царство. Да и было отчего приуныть: состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам.

— Никому не верю! — говорил царь Горох им в глаза. — Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверно, смеетесь надо мной... Все знаю!.. Лучше и не оправдывайтесь.

— Помилуй, славный царь Горох! — взмолились бояре и воеводы. — Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать... Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя.

— Знаю, знаю. Правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждете моей смерти.

Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал — и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кашей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости да, кроме того, сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, в" жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.

— Воры вы все! — корит царь Горох своих поваров. — Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а мне одну жижу оставите.

— Смилуйся, царь-государь! — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах. — Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков...

— Знаю, знаю. У меня все царство вор на воре — вором погоняет.

Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна — и та голодала. Плачет, а попросить куска хлеба не смеет у царя. Исхудала, бедная, и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошинка была сыта крошечками...

"Испортили царя! — думали все. — Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека... А какой был у нас славный да веселый царь!.."

А славный царь Горох с каждым днем делался все хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну.

— Однако сколько у меня развелось изменников! — удивляется славный царь Горох. — Это они у меня столько всякого добра наворовали... А я-то по простоте ничего и не замечаю. Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер...

IV

С каждым днем славный царь Горох делался все хуже и хуже, а народ все искал, кто его испортил. Искали-искали и наконец нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая... Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то еще хуже — бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и всё зло по гороховому Царству пошло. Доказательства были все налицо: славный Царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох и никому больше.

— Что нам делать теперь? — жаловались все друг другу. — Домашний враг сильнее всех... Погубит прекрасная царевна Кутафья все царство. Некуда нам деваться от колдуньи...

Впрочем, оставалась еще одна, последняя, надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все нехороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть, выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали, а прекрасная царевна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь, красавец и богатырь, каких поискать, но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох.

— Королевство у тебя маловато, король Косарь, — заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку. — Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?

Обиделся король Косарь, сел на своего коня и сказал на прощанье царю Гороху:

— Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?

Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля Косаря: молод-де еще, на губах молоко не обсохло!

Царевны, прекрасной Кутафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать — отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище.

Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король Косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалеючи дочь, а сама и пикнуть не

смела перед царем.

Не успел славный царь Горох оглянуться, как король Косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал.

— Управляйся, как знаешь, — сказал он через послов царю Пантелею. — Всякому своя рубашка ближе к телу.

Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король Косарь.

— Напрасно ты мне не помог, — укорял он царя Гороха. — Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет.

— Это мы еще увидим, а твой Косарь — молокосос...

V

Завоевав царство Пантелея, король Косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали:

— Отдай нашему храброму королю Косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею.

Рассердился царь Горох и велел казнить Косаревых послов, а самому королю Косарю послал собаку с отрубленным хвостом. Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста...

Рассердился и король Косарь и пошел войной на гороховое царство, идет — и народ, словно косой, косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король Косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху.

— Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю Косарю, — говорят послы. — Ты первых послов казнил и нас можешь казнить. Мы люди подневольные.

— Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю! — ответил царь Горох. — Пусть сам берет, если сумеет только взять... Я ведь не царь Пантелей.

Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать:

— Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты... Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастной, напрасно льется кровь и гибнут люди...

— Вот как? Отлично... — ответил славный царь Горох. — Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, Доченька... Может быть, тебе хочется замуж за короля Косаря? Ну, этого ты не дождешься! Все царство загублю, а тебе не бывать за Косарем...

Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую

башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены Косаревы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну.

— Отдай нам наши города, взятые королем Косарем! — кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди. — Отдай всех, которых убил король Косарь! Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью... Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким.

Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло? Вот и родной отец ее возненавидел ни за что... Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь плачет.

— И для чего я только уродилась красавицей? — причитывала она, ломая руки. — Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой... А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!..

А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали:

— Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду. Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.

VI

Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошинка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери — такая большая женщина и так плачет.

— Мама, скажи, о чем ты плачешь? — спрашивала она. — Ты только скажи, а я попрошу отца... Он все устроит.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Горошинка!

Царица Луковна и не подозревала, что Горошинка знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был необыкновенный ребенок. Горошинке улыбались цветы, она понимала, о чем говорят мухи, а когда выросла большой, то есть ей исполнилось семнадцать лет, с Горошинкой произошло нечто совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть — и Горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и все рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-Горошинка полетала около нее, пожужжала и наконец проговорила:

— Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее...

Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос.

— Это — я, твоя сестренка Горошинка.

— У меня нет никакой сестрицы...

— А я-то — на что?

Горошинка рассказала о себе все, и сестры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним: именно, что маленькая сестренка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые.

— Нет, я не колдунья, — объясняла обиженная Горошинка. — А только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок, а какой зарок — никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что — не знаю.

Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях: как она жалела отца, который сделался злым, а потом сколько горя из-за нее терпит теперь все гороховое царство. А чем она виновата, что король Косарь непременно хочет жениться на ней? Он даже и не видал ее ни разу.

— А тебе он нравится, сестрица?— лукаво спросила Горошинка.

Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела.

— Раньше нравился... — объяснила она со смущением. — А теперь я его не люблю. Он — злой...

— Хорошо. Понимаю. Ну, утро вечера мудренее...

VII

Все гороховое царство было встревожено. Во-первых, Царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнется.

— Ты как сюда попала? — удивились тюремщики.

— А так... Вот пришла и сижу.

И девица какая-то особенная — горбатая да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, всё в заплатках. Пришли тюремщики в ужас:

— Что ты наделала-то, умница? Ведь расскажит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи...

Побежали во дворец и объявили все. Прибежал в башню сам славный царь Горох — так бежал, что и шапку дорогой потерял.

— Всех казню! — кричал он.

— Царь-государь, смилуйся! — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. — Что хочешь делай, а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами, бедными, прекрасная царевна Кутафья...

Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая как ни в чем не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков.

— Да ты откуда взялась-то, красота писаная? — строго спросил он.

— А так... Где была, там ничего не осталось.

Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько его не боится.

— А ну-ка, повернись... — сказал он, удивляясь.

Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платишко на ней едва держится — заплатка на заплате.

"Этакую ворону и казнить даже не стоит", — подумал славный царь Горох.

Собрались тюремщики, тоже смотрят и тоже дивуются.

— Как тебя звать-то, красавица? — спросил царь Горох.

— А как нравится, так и зови... Прежде звали Босоножкой.

— А ты меня не боишься?

— Чего мне тебя бояться, когда ты добрый... Так и все говорят: какой у нас добрый царь Горох!

Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят...

— Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда шей и каши, — приказал царь Горох. — А я сам буду сторожить. Дело не чисто...

А царица Луковна убивалась у себя во дворце. Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король Косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут еще пропала царевна Горошинка. Искала-искала ее царица по всем комнатам — нет нигде Горошинки.

"Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал", — думала царица Луковна и еще больше плакала.

VIII

В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король Косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю Косарю. Каждое утро злой король Косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое:

"Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось, — приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет — у тебя не борода, а мочалка".

Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости.

Весь народ, сбегавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха — все равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его:

— Вот, старый колдун караулит ведьму-дочь... Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!

Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был добрый — все было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить, да поздно. А тут еще рябая девица сидит у окошечка и поет:

Жил да поживал славный царь Горох, Победить его никто не мог... А вся сила в том была, Что желал он всем добра.

— Правда, правда... — шептал царь Горох, обливаясь слезами.

Потом мудреная девица сказала ему:

— Вот что, славный царь Горох... Не ты меня держишь в башне, а я тебя держу. Понял? Ну, так довольно... Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой — царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придешь домой — собирайся в дорогу. Понял? А я приду за вами...

— Как же я пойду — меня убьют дорогой.

— Никто не убьет. Вот я тебе дам пропуск...

Оторвала девица одну заплатку от своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец. Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех их казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам:

— Мне бы только увидеть царицу Луковну. Всего одно словечко сказать...

Слуги смилостивились и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно:

— Царица у нас добрая, смотри не вздумай просить у нее хлеба. Она и сама через день теперь ест. А все из-за проклятого царя Гороха...

Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул:

— Бежим скорее. После все расскажу.

Сборы были короткие — что можно унесли в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила Горошинка. Скоро пришла и Босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил:

— Что же это вы меня одного оставляете?

— Ну идем с нами... — сказала Босоножка. — Веселее вместе идти.

IX

Король Косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать город приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Все равно сами сдадутся, когда "досыта наголодаются".

От нечего делать веселится злой король Косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни... Всем весело, только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, выдавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой, в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог.

— Это какая-то проклятая птица! — решили все.

Как ни веселился король Косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король Косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал.

— Завтра казнить царевича Орлика! — приказал король Косарь. — Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадется мне в руки. Пусть помнят, какой был король Косарь!

К утру все было готово для казни. Собралось все королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича.

Король Косарь вышел из палатки и махнул платком — это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвилась над землянкою пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля Косаря.

— Что это за птица? — рассердился король Косарь.

Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет — кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может.

— Убейте ее! — кричит король Косарь. — Да нет, куда вам... Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять...

Натянул король Косарь могучей рукой тугой лук, запела оперенная лебединым пером стрела, и свалилась с маковки сорока. Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король Косарь, припал на колени и в ужасе проговорил:

— Девица-краса, что ты со мной сделала? Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна

Кутафья ответила:

— Не вели казнить брата Орлика...

Король Косарь махнул платком, а стража, окружающая царевича, расступилась.

Х

Ведет Босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Все задирает царь Пантелей.

— Ах, какое у меня отличное царство было!.. — хвастается он. — Такого другого царства и нет...

— Вот и врешь, царь Пантелей! — спорит Горох. — Мое было не в пример лучше...

— Нет, мое!..

— Нет, мое!..

Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше?

Опять идут.

— А сколько у меня всякого добра было! — говорит царь Пантелей. — Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было.

— Опять врешь! — говорит царь Горох.— У меня и добра и казны было больше.

Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала:

— Перестань, старик... Ведь ты же хотел быть добрым?

— А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым? — сердится славный царь Горох.

Всякий думает о своем, а царица Луковна — все о детях. Где-то красавец царевич Орлик? Где-то прекрасная царевна Кутафья? Где-то царевна Горошинка? Младшей дочки было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошинки... Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом.

А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.

— Перестаньте вы грешить, — уговаривала она их. — Оба лучше... Ничего не осталось, так и хвалиться нечем.

— У меня-то осталось! — озлился славный царь Горох. — Да, осталось... Я и сейчас богаче царя Пантелея.

Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит:

— Что, видел? У тебя пять пальцев всего, а у меня целых шесть — вот и вышло, что я тебя богаче.

— Эх ты, нашел чем хвалиться! — засмеялся царь Пантелей. — Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стоит...

Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами

и довел человека до слез?

— Послушай, царь Пантелей... — заговорил он. — Послушай... брось!..

— Никак не могу бросить, царь Горох.

— Да ты о чем!

— А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю Косарю. Все равно помирать голодной смертью...

Подошла Босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей да как закричит:

— А что же ты, такая-сякая, щей мне не даешь?!. По-твоему, цари всухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу...

— Перестань, нехорошо... — уговаривал царь Горох. — Хорошо, когда и кусок хлеба найдется.

XI

Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а Босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах да черемуховой палкой подпирается.

Царица Луковна молчала — боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха, а когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая Босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала царица Луковна посерживать и спрашивает:

— Эй ты, Босоножка, куда это ты нас ведешь?

Цари тоже перестали спорить и тоже накиннулись на Босоножку:

— Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?

Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А цари так к ней и подступают: сказывай, куда завела?

— А в гости веду... — ответила Босоножка и еще прибавила: — Как раз к самой свадьбе поспеем.

Тут уж на нее накиннулась сама царица Луковна и начала ее бранить. И такая и сякая — до свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебашь. В глаза смеется Босоножка над всеми.

— Ты у меня смотри! — грозились царица Луковна. — Я шутить не люблю.

Ничего не сказала Босоножка, а только показала рукой вперед. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город, с каменными стенами, башнями и чудными хоромами. Перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили цари и даже попятились назад, а потом царь Пантелей сказал:

— Э, все равно, царь Горох! Пойдем... Чему быть — того не миновать, а может, там и покормят. Очень уж я о щах стосковался...

Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась.

Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался пред царем Пантелеем своими шестью пальцами, — болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала Босоножке:

— Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми...

Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал:

— Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей с киселем... Очень уж я люблю кисель!..

Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет, тоже на коне, прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король Косарь.

— Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом... — забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала Босоножка.

Подъехали все, и узнал славный царь Горох родных детей.

— Да ведь это моя столица! — ахнул он, оглядываясь на город.

Спешились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король Косарь.

— Ну, что же ты пнем стоишь? — сказал ему славный царь Горох. — От поклону голова не отвалится...

Поклонился злой король Косарь и сказал:

— Бью тебе челом, славный царь Горох!.. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью.

— Ну это еще посмотрим! — гордо ответил царь Горох.

С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом. Даже царь Пантелей приосанился.

Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась Босоножки, а ее и след простыл. Искали-искали, ничего не нашли.

— Это была Горошинка, мама, — шепнула царице Луковне прекрасная царевна Кутафья. — Это она все устроила.

Через три дня была свадьба — прекрасная царевна Кутафья выходила за короля Косаря. Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:

— Давай поцелуемся, царь Пантелей... И из-за чего мы ссорились? Ведь, ежели разобрать, и

король Косарь совсем не злой...

XII

Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула.

— Да откуда ты взялась-то, уродина? — рассердилась старуха.

— Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила.

— Сестрицы?! Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная!.. Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать — тогда и узнаешь сестрицу Кутафью...

— Мама, да ведь я твоя дочь — Горошинка!

У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошинке. Весело было на свадьбе, и про Горошинку с радости все и забыли.

— Ох, забыла я про тебя, доченька! — плакалась царица Луковна. — Совсем из памяти вон... А еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!..

Но, посмотрев на Босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила:

— Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошинку... Ни-ни! Просто взяла да притворилась и назвалась Горошинкой. И Кутафью обманула... Не такая у меня Горошинка была...

— Право, мама, я Горошинка, — уверяла Босоножка со слезами.

— Нет, нет, нет... И не говори лучше. Еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит...

— Отец у меня добрый!..

— Отец?! Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазую!

Горошинка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить. Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала.

— Вот еще горюшко навязалось! — кричала она. — Ну, куда я с тобой денусь? Придет уж царь Горох, увидит тебя — что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих...

— Некуда мне идти, мама...

— Какая я тебе мама!.. Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то!.. Тоже, придумает: дочь!

Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает... Вот беда прикачнулась!

Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей: "Она помоложе, может, что и придумает, а я уж старуха, и взять с меня нечего..."

Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем Косарем. Все царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой пир, что царица Луковна совсем позабыла о Босоножке, то есть не совсем забыла, а все откладывала разговор с Кутафьей.

"Пусть молодые-то повеселятся да порадуются, — думала царица Луковна. — Покажи им этакую чучелу, так , все гости, пожалуй, разбегутся..."

И гости веселились напропалую, а всех больше царь Пантелей — пляшет старик, только борода трясется. Король Косарь отдал ему все царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился:

— Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок!

— Голубчик, царь Горохушко, не сердись!.. — повторял царь Пантелей, обнимая старого друга.

— Ах, какой ты... Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать.

— Ну, это дело ты брось... Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни!.. И так проживем...

Чтобы как-нибудь гости не увидели Босоножки, царица Луковна заперла ее в своей комнате на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наехало со всех сторон видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал:

— Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек...

Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал полы своего кафтана и пускался вприсядку. Он так размахивал длинными руками, что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна — трянула стариной. Подбоченясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками.

— Эх-эх-эх!.. — приговаривала она, помахивая платочком.

— Ай да старуха! — хвалил царь Горох. — Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет...

Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала: очень уж ей было обидно чужое веселье.

XIII

Сидя у своего окошечка, Босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и Босоножка ей крикнула:

— Сестрица Кутафья, подойдите сюда!

В первый раз Кутафья сделала вид, что не слышала, во второй раз — она взглянула на Босоножку и притворилась, что не узнала ее.

— Милая сестрица, да ведь это я, Горошинка!

Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбрала Босоножку и закрыла окно ставнями.

— Ты у меня смотри! — ворчала она. — Вот уж, дай только гостям уехать... Пристало ли тебе, чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь...

Сидит Босоножка в темнице и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в щелочку насмотришься. По целым часам Босоножка сидела у окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца витязя, который приехал на пир случайно. Хорош витязь — лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любят, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король Косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула.

А у бедной Босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она замуж пошла! Да вся беда в том, что Босоножка не знала, как витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Все бы ему до капельки рассказала, а он, наверно, пожалел бы ее. Ведь она хорошая, хоть и уродина.

Сколько гости ни пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою Босоножку и расплакалась:

— Ах, что я с нею только делать буду, Кутафья!.. И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают.

Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит:

— О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню, на самую черную работу — вот и все... Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь.

— Да ведь жаль ее, глупую!

— Всех уродов не пережалеешь... Да я и не верю ей, что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью: меня добрые люди красавицей называют, и брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?

— Говорит, что моя...

— Мало ли что она скажет... А ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару.

Сказано — сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее:

— Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать.

— И одежка на ней тоже хороша! — удивлялась повариха, разглядывая Босоножку. — Ворон пугать... Ну и красавица!

А Босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу — она мыла грязную посуду, таскала помой, мыла полы. Все так ею и помыкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрикивают:

— Эй ты, хромая нога, только даром царский хлеб ешь! А пользы от тебя никакой нет...

Особенно донимала ее старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять. Случалось не раз, что злая баба и прибьет Босоножку: то кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка все переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра! Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет — только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но поварихи и повара кричали в один голос:

— Ленивая-преленивая эта уродина, царица! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест...

— А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась, — говорила царица.

Стали Босоножку наказывать: то без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят.

Больше всего возмущало всех то, что она переносила все молча, а если плакала, то потихоньку.

— Это какая-то отчаянная! — возмущались все. — Ее ничем не проймешь... Она еще что-нибудь сделает с нами. Возьмет да дворец подожжет — чего с нее взять, с колченогой!..

Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне:

— Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину. Житья нам не стало с нею. Вот как замаялись с нею все — и не рассказать!

Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит:

— А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее...

— Сошли ты ее, царица-матушка, на задний двор. Пусть гусей караулит. Самое это подходящее ей дело.

— В самом деле, послать ее в гусятницы! — обрадовалась царица Луковна. — Так и сделаем... По крайней мере, с глаз долой

XIV

Совсем обрадовалась Босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо — на задний двор посылали с царского стола одни объедки, но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок — вот и весь обед. А как хорошо летом в поле — и зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них Босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие.

— Ты у нас будешь царицей, — шептали ей цветы.

— Я и то царская дочь, — уверяла Босоножка.

Огорчало Босоножку только одно: каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали:

— Го-го-го... ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились так, несчастные гуси!

Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси все равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кашей. Другие гости тоже ели да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь... Не то, что король Косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая — всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут несолоно хлебавши к царю Гороху.

Как-то наехало гостей с разных сторон видимо-невидимо, и захотел царь Горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пива и браги, и всякого вина, разложили по столам всякую еду. Приехали и гости — женщины в колымагах, а мужчины верхом. Гарцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился Босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь — получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют.

— Веселитесь, дорогие гости, — приговаривает царь Горох, — да меня, старика, лихом не поминайте... Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать... Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет... А из лука как стрелял — раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла.

Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа, и царь Горох прибавил:

— То бишь это не медведь был, а заяц...

Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь Горох еще раз поправился:

— То бишь и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост... Так, Луковна?

— Так, так, царь Горох, — говорит царица. — Вот какой был удалый...

Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.

— Когда я был молодой — теперь мне борода мешает, — так я одною стрелою убил оленя, ястреба и щуку, — рассказывал старик, поглаживая бороду. — Дело прошлое, теперь можно и похвастаться...

Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал:

— Да я... я... Я прежде вот как легок был на ногу: побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите...

— Врешь ты все, Пантелей, — отвечает царь Горох. — Очень уж любишь похвастать... да... И прежде хвастал всегда, и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай... да... Я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу... Это все знают... Так, Луковна? Ведь ты помнишь?

— Да будет вам, горе-богатыри! — уговаривала расходившихся стариков царица. — Мало ли что было... Не все же рассказывать. Пожалуй, и не поверят еще... Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту...

Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колымагах.

— Как я прежде верхом ездил! — со вздохом говорил царь Горох.

— И я тоже... — говорил царь Пантелей.

— Лучше меня никто не умел проехать...

— И я тоже...

— Ну, уж это ты хвастаешь, Пантелей!

— И не думал... Спроси кого угодно.

— И все-таки хвастаешь... Ну, сознайся, Пантелеюшка: прихвастнул малым делом?

Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил:

— А ты, Горохушко?

Царь Горох тоже оглянулся и тоже ответил шепотом:

— Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка... Так, на воробыный нос.

— И велик же, должно быть, твой воробей!

Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.

— Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка!.. Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас...

XV

Босоножка пасла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своею охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела Босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху и камнем падет на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплются. А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась Босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу.

— Витязь, не тронь моих гусей! — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной.

Остановился витязь с удивлением, а Босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех.

— Да ты кто такая будешь? — спросил он.

— Я царская дочь...

Засмеялся витязь, оглядывая оборванную Босоножку с ног до головы. Ни дать ни взять настоящая царская дочь... А главное, смела и даже хворостиной на него замахнулась.

— Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды, — сказал он. — Разжарился я очень, а слезать с коня неохота...

Пошла Босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит:

— Спасибо, красавица... Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз.

Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось.

— Приведите ее сюда — и посмотрим, — говорит подгулявший царь Пантелей. — Даже очень любопытно... Потешимся досыта.

— И что вам за охота на уродину смотреть? — вступилась было царица Луковна.

— А зачем она себя царскою дочерью величает?

Послали сейчас же послов за Босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках.

— Точно где-то я тебя, умница, видел? — спрашивает он, разглаживая бороду. — Чья ты дочь?

Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает:

— Твоя, царь Горох.

Все так и ахнули, и царь Пантелей чуть не задохнулся от смеху. Ах, какая смешная Босоножка и как осрамила Царя Гороха!

— Это я знаю, — нашелся царь Горох. — Все мои подданные — мои дети...

— Нет, я твоя родная дочь Горошинка, — смело ответила Босоножка.

Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать Босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над Босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет, как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху, да и обидно притом, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил:

— Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить... Девушка не виновата, что она такую родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней.

Подошел витязь Красик к Босоножке, обнял ее и крепко поцеловал.

Тут у всех на глазах случилось великое чудо: Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты.

— Да, это моя дочь! — крикнул царь Горох. — Она самая!..

Спало колдовство с Босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь, полюбил такую, какую она была.

Я там был, мед-пиво пил, по усам текло — в рот не попало.

[1] Саймой на Урале называют рыбацкие стоянки. (прим. автора)

[2] На Урале вместо «бабушка» говорят «баушка», вместо «девушка» — «деушка». (прим. автора)

[3] Курень — место выжига угля в лесу.

[4] Блазнит — кажется (местное уральское слово).

[5] Яга — шуба шерстью наружу. (прим. автора)

[6] Шубенки — рукавицы. (прим. автора)

[7] Балаган — широкая низкая изба, вросшая в землю, крытая дерном, без окон, с очагом из камней вместо печи, с земляным полом. (прим. автора)

[8] Залобовать — убить. (прим. автора)

[9] Охулки на руку — то есть обсчитал.